

ВЕРА ГАЛАКТИОНОВА

## СПЯЩИЕ ОТ ПЕЧАЛИ

ПОВЕСТЬ

\* \* \*

Пахнет в доме древним родным деревом, печным старым кирпичом, лежалым бельём из маменькиного сундука. И снова твердит тётка, уставившись в одну точку:

— Засветло тебе уехать, Федя, надо. Засиживаться до вечера нельзя: опасно. Горцы есть горцы, понимать надо. Они тебя уже видали. А если в лицо узнали — то всё: не выедешь ты отсюда. И не выедешь — и не спрячешься.

— Да кто кого запомнил? Брось...

— Ой, приметливые они! Это мы не помним ничего, а эти — ничегошеньки не забывают, никогда. Уезжай.

— ...Капитулировать, значит, предлагаешь, — помолчав, сказал тогда Бухмин спокойно, вставая из-за стола и заправляя гимнастёрку под ремень. — Ввиду численного их превосходства. Ты кому это говоришь? Мне?! Нет. Сначала я им объясню кое-что. Одному да другому, третий уж не полезет.

— Феденька! Не надо! Ножик мой отдай! Не хватай!.. — вскочила тётка, всполошилась, кинулась к Бухмину. — Они, Федя, тоже натерпелись. Им контора мало помогает... И по дороге они гибли. И тут им взять нечего, неоткуда, а жить — надо! У них, Федя, тоже — дети. Понимать надо!

— Да у твоих же детей, у сирот...

— Пускай! Зато не обидели здесь никого. Сядь, сказала! — толкнула она Бухмина к венскому гнутому стулу. — Сядь и сиди!.. Нет, эти горцы — они не плохие у нас, Федя. Хорошие! Даже очень хорошие! Не как в соседней артели... Отдай мне ножик, сказала! Я сама с ним хожу. В кармане ношу. Без него — никуда... Кому сказала?! Да что ж за наказанье-то такое...

Бросив нож на стол, Бухмин долго ходил по дому без дела, пока не увидел на комодке старый плюшевый кисет — лиловый, затянутый шёлковой верёвкой с тускло-малиновой плоской кистью.

— Я это для тебя вытащила! — встрепелась тётка, обрадовалась. — Из сундука. Нашла! Там самосад остался... С этим кисетом твой отец в Карпатах воевал. “Георгия” получил — и курить бросил... Мы в сундуке этот кисет держали, от моли... Вот вытащила: вдруг покурить ты захочешь, а папироски у тебя кончатся фронтовые...

Никак не отвечая тётке, Бухмин отыскал обрывок газеты и, глянув мельком на статью, — “...завершившим разгром кенигсбергской группы немецких войск и овладевшим городом и крепостью...”, стал сворачивать “козью ножку”. Табачная пыль времён первой мировой была ничем не отличима от сенной трухи. Но Бухмин курил, разглядывая синие волны дыма, под тихие тёткины причитания:

— ...Уезжай, Феденька. Сцепитесь вы. Рано или поздно. А помочь тебе будет некому. В одиночку никого ты не одолеешь... На коленки перед тобой встану: уезжай только. Неужто детей моих ты не пожалеешь? Говорю же: узнают про тебя, вырежут всех. И дом сожгут!.. Их здесь тьма-тьмущая, а наших, видишь, не осталось. Полегли наши, Федя... Понимать надо... Ох, и что это за жизнь: всё-то мы побеждаем да побеждаем! А наше, последнее, из рук всё уходит и уходит... В дым! Улетает, Федя, всё.

Бухмин вдавил сигарку в чайное блюдце.

— Думал, споёшь ты мне, — прокашлялся он. — Так спеть с тобой хотелось! “По пути села родного...” Помнишь?

Тётка покачала головой:

— Когда это было? — и махнула рукою.

Бухмин затыкнул всё же:

— По пути села родного... колокольчик прозвенел... Тут промчался вороводяга, бездомовый человек... Ты куда, куда, бродяга, — прокашлялся он снова для чистоты голоса. — Ты куда скоро спешешь? Тебя брат родной не встретит... и за ручку не возьмёт...

Пристально посмотрела на него тётка, сказала отчуждённо:

— Всей семьёй пели — хорошо! На три голоса. А сейчас — чего уж...

Вина в бутылке уже не было. Только две полные рюмки стояли на столе. И тётка, и Бухмин сидели теперь недвижно, не нарушая домашней глухой тишины.

— Другая ты стала, — проговорил он наконец. — Лицо у тебя... резкое очень. Как из скалы ты выточенная, из тёмной. Обветрило тебя... Другая, а всё равно — красивая.

Тётка Родина поправила косынку с досадой.

— Это значения не имеет, — сухо сказала она и нахмурилась. — Больше не имеет. Павел погиб.

— Заглядываются? Эти? — уводил глаза в сторону Бухмин. — Донимают?

— Я без ножа в кармане не хожу, — повторила тётка равнодушно. — Они тоже не дураки.

И снова стало тихо в доме. С увеличенной серой фотографии над комодом смело глядели на Бухмина бородатый весёлый отец и дородная матушка. А пропечатанное понизу замысловатое тиснение — “Семипалатинская губерния Российской империи” — на переснятом снимке вышло тускло.

Бухмин с полной рюмкою в руке подошёл к фотографической бумаге.

— Вернулся я, — сказал он отцу негромко.

И матери сказал:

— Вот. Приехал.

Она же — с открытым спокойным взглядом и с высокой причёской своей, чуть улыбалась ему из прошлого, словно издалёка — из серого тумана.

— Дождались они тебя, — проговорила тётка уважительно и деловито. — Свиделись все. Теперь поторопись... Фёдор, слышишь? А то стемнеет.

И добавила вдруг она голосом, дрогнувшим от укора:

— Ну, дезертиров — ладно, а беременных бабёнок зачем ты выселял? А, Федя?

Крякнув, промолчал Бухмин, вернулся за стол, потирая плечо.

— И этих, истинно православных, пригнали, — тихо, словно во сне, говорила тётка. — Одна не разродилась, другая мёртвенького скинула, он человек был... А что в дороге, тесной, голодной, с тяжёлыми бабёнками ихними творилось, которые на сносях-то были?.. Федь? Зачем?

Стукнул по столу Бухмин, побагровел до злой слезы.

— А что ещё дезертирам было делать, как не баб в войну брюхатить?! — прикрикнул он. — Что?

И осеклась тётка. А Бухмин продолжал с тою же сумрачной злостью:

— ...Наш мужик в огонь шёл и в падаль гниющую превращался. В прах! В назём... Когда эти — размноженьем своим занимались... Может, наши жизни дешевле ихних были?! А?

Теперь уже только молчала тётка, склонив голову к плечу.

— У идущего на смерть тыл должен быть надёжный, — устав, договаривал Бухмин. — Пули в спину солдату не нужны, ему других пуль хватало... А брюхатить жён этим умникам и тут хорошо, только... только чтоб от фронта они были подальше, те, кому отчизна — не мать... Неудобный здесь, конечно, для их семей инкубатор, да ведь ты-то — всю жизнь тут? В этих местах?.. Ты — с похоронкой здесь живёшь, их бабы — с мужьями. Такая вот разница получилась.

— Ладно, — кивнула тётка поспешно. — Не переживай. Твоя правда есть, Феденька! Только политическая она вся. А моя правда — жизненная. И так далеко они разошлись, правды эти, что беда. Соединил бы их кто.

— Ну! Бабьего ли ума это дело? — окоротил тётку Бухмин. — Война есть война. Там двух правд не бывает! ...Одна у войны правда: военная.

— Ты тоже другой стал, — ответила тётка.

\* \* \*

Часы на стене бойко стучали. Рисованный медведь на расписном циферблате водил глазами влево — вправо. Бухмин же, махнув рюмку вина, соображал теперь вслух, что ему делать.

— В райцентр поеду, просить в председатели... А если Славик решит ещё поработать, в милицию устройю. Участковым пойду. И точка.

— Узнают они всё про тебя, — твердила тётка негромко. — Кровная месть у них, обычай такой... Кто им урон нанёс, они тех не прощают. Вон даже Славика сказали: "Мы — дети волчицы". Он ведь притих. Не ответил даже ничего.

— Волчицы, говоришь? — задумался Бухмин. — Те из них, которые на фронте геройски сражались, может, и дети волчицы. Хотя... они свою, живую, человеческую кровь за всех проливали, а не по чужим сараям шастали. Значит, человечьи это были дети! ...А шакалы? Они из семейства волчьих — или нет? Вот про это я их, здешних, наверно, спрошу!

Но каждой своею фразой лишь сильнее пугал он бедную тётку, пока, побледнев как полотно, не бухнулась она ему в ноги прямо со своего табурета:

— Да что же за горе нам такое? Зачем, зачем ты вернулся? Дай нам покой! Не трогают они нас — и хорошо. А ты — уезжай! Хватит мне слёз, хватит мне страха. Пожалей ты меня! Ради детишек-сирот прошу! Собирайся засветло.

— Гонишь из дома, что ли? — никак не мог взять в толк Бухмин, потирая плечо. — Тут половицу надо менять. Дверь вон рассохлась, а ты... Ты? Меня? Гонишь?!

— Гоню, Фёдор, — твёрдо прихлопнула тётка ладонью по столу, не вставая с колен. — Я за тебя перед матерью твоей, перед старшей сестрой своей, в ответе. Мне тут покойник в доме не нужен. Гоню!

И снова, подхватив вещмешок с лавки, окидывает Бухмин взглядом стены, фотографии, половики. Качаются за окошком цветущие мальвы. Висят на бельевой верёвке, вдоль печи, детские рубашонки, майки, штаны. Стоит на коленях безмолвная тётка Родина, склонив голову.

— Ладно, — топчется он у порога, не решаясь толкнуть дверь. — Раз для твоего спокойствия надо... Может, ещё чего изменится. Хибары-то у них вроде временные... Тогда приеду, когда разрешишь. Устроюсь, адрес пришлю. И если что с вами случится здесь — в тот же миг! Поняла?

— Вот и хорошо, Федя! — размашисто перекрестилась тётка, поднимаясь с колен. — Гора с плеч. Ребятки целее будут... Вот и ладно! Я ведь тоже не железная, Федя. Случись чего с тобой — не переживу! А с детишками — недавно...

\* \* \*

И вскоре в Столбцы пришло Бухмину письмо из города Тирасполя.

“Дорогой, родной Фёдор! Ноги мы оттуда унесли всё же. К свекрови переехали. Она как отправилась до войны к старшему сыну, к Толику, офицер который, так с ним и живёт. Помнишь его? Пашиного брата старшего? Ты маленький был, а он в галстучке шёлковом приезжал, на Троицу. Со всеми, по очереди, в лесу танго танцевал, аргентинское. Губами его дудел... Ну вот, в больнице теперь лежит, с тяжёлой контузией, Толик. А всё натворила — война. И что Гитлер со Сталиным на лужайку не вышли? Подрались бы. И кто кого одолел — того бы горка была. А людей-то наших миллионами зачем увечить? Не пойму...

Как за тобой дверь захлопнулась, я со свекровью списалась уже окончательно. Не суди меня. Так лучше, как всё устроилось. Живём теперь без всякого страха. Дом брошенный жалко, спасу нет, каждую половичку вспоминаю, каждую полочку, тятенькой прибитую. Но зато все мы уцелели. А что на могилки нам теперь не попасть, когда захочется, то ничего не поделаешь: судьба наша такая. Это понимать надо... Тут — политика! Её не переплюнешь... Но всё теперь наладилось. И для нас место нашлось на земле спокойное.

Ничего, Фёдор. Не тоскуй по нашим местам. И так твоей матери, моей сестрице незабвенной, и твоему отцу лежать в нашей земле намного спокойней, они бы меня одобрили. Прости, прости!

Вот Шарик остался. Один уже, без нас дорогое, родное село охраняет, дурачок-то наш. Лает, хрипит. Может, ещё не убили его за это. Надеюсь я... Марью просила взять Шарика во двор, да она осерчала: “Я с человеческим инвалидом устала, зачем ещё мне собачий ваш?” Характер Марьян ты знаешь. Ну, хозяин увечный, да пёс ненормальный прибавится: ей совсем не село станет, Федя. Понимать надо... Пообещалась, правда: кусочек Шарик, хоть изредка, да вынесет. Такое слово, неохотное, всё же мне дала.

Ничего не поделаешь: у каждой букашки-таракашки своя судьба, у собаки — тем более. А наша тут пошла выправляться! Если денежек, Федя, будешь маленько высылать, детишкам на обувку-одевку, то и совсем будет нам тут хорошо. А то всё на них горит. За просьбу эту прости Христа ради, тысячу раз, и много присылать, в ущерб себе — не смей. Из остаточков, когда получится: не часто. А всю нашу нужду на себя не вешай. Этой просьбой, Феденька, беспокоить я тебя уже не буду больше, ладно? И так мне больно, неловко, плохо, что себя ты этим из-за нас ущемишь, да вот нужда... Но очень хочу, чтобы ты больше думал о себе, не о нас.

Лечи солодовым корнем плечо! Он всё очищает! Корни в чугулке запарь, пускай в печке постоит подольше, и пей без ограниченья, как чай! Обязательно. А если у тебя трудности будут, мы и долго потерпим, без всякой твоей помощи. Ничего. Не беспокойся. Я тут зарабатываю всё же копеечки, да!.. В уборщицы больничные пошла, Федя, туда, где Толик лежит!

Приглядываю за ним, за государственный оклад. Кормлю с ложки, руки у него — как плети, и по ночам кричит, бьётся, а так — спокойный, хоть и контуженый. Врачи говорят, организм у него слишком крепкий, сильной породы: мучиться долго будет...

Вот, в поломоиках, Феденька, я теперь, зато работа лёгкая: вечером ухожу всего на четыре часа, а возвращаюсь хоть и в полночь, леском, зато нож со мной, в пиджаке. Я без ножа в кармане не хожу. Привыкла давно, и мне с ним спокойно. Хорошо.

А так весь день я при детях, Федя. Свекрови помогаю сушить дули, сладкие очень. Ещё по мелочи: вскопать, прибить, побелить, натаскать воды, постирать, сготовить — это нам привычное всё, ты знаешь. Да и дети у меня — как муравьи: один грядку прополет, другой двор подметёт. И посуду они моют.

Митя с Гришей учатся хорошо, особенно — Митя. Они способные. Только у Фёдора плохо с устным счётом. И двойняшки трогают бабушкины вещи, такое бывает иногда...

Себя береги, Федя, ты способный у нас. Это главное. Позвала бы тебя в гости, да не знаю, как отнесётся свекровь. Она от шума-гама нашего устаёт. Не привычная. У неё нервы — изношенные, это понимать надо... На том прощаюсь. Пиши. Целую тебя в макушку тысячу раз!”

\* \* \*

И Бухмин, действительно, что-то выслал тётке со следующей посылки. Она снова прислала письмо, в котором увещевала: зачем он так много от себя оторвал, а надо было — немножко. Сообщала, что у Феди с письменным счётом стало гораздо лучше, даже отлично иногда выходит, а с устным — ещё хуже, чем было. Что двойняшки проглотили двух самых мелких бабушкиных слоников с комода, однако слоники “вышли” — потому, что были “как фасолики”. Но бабушка всё равно врезала в свою дверь замок. Теперь от детей запирается и крутит патефон в одиночку, на всю громкость, чтобы никого не слышать... И прощалась тётка Родина в конце письма точно так же: “Целую тебя тысячу раз — в маковку!”...

Потом вызвал Бухмин Лизу из Белоруссии к себе, в Столбцы, стали они обживать, обзаводиться скарбом. До тётки ли тогда было, когда он просиживал ночами за письменным новым столом и сочинял под Лизиним приглядом первую книгу стихов? О вольных лугах прииртышских, о довоенной школе. И детская жгучая любовь его ушла в стихи вся, без остатка, будто вода в песок: Марьи с её пощёчиной в жизни Бухмина больше не существовало.

От тётки пришло ещё одно письмо, самое короткое и самое бодрое: “У нас всё хорошо! Не беспокойся только, занимайся собой! Мы голодные не сидим, всё у нас устоялось, и нуждишку перемогаем успешно. Вот Митя, правда, школу бросил, пошёл в сантехники, зато — кормилец. Очень он любил твою литературу и пятёрки получал по русскому! Теперь с дерьмом работает, жалко его очень. Но нет у моих детей отца! Пал отец за наше счастье. Это понимать надо... А у тебя теперь хозяйка. Ей — пламенный привет! И тебе, Федя, — массу наилучших пожеланий. Марья мне уже не пишет, чтоб Славик к тебе не ревновал, и новостей из родных мест никаких нету. А Толик помер в больнице, отмучился, открычался, и война его наконец кончилась...” Но отвечать Бухмину было уже совсем некогда.

\* \* \*

Имперский диковинный гребень, который Бухмин забыл отдать когда-то своей тётке, Лиза нашла на дне старой коробки с катушками высохших лент для пишущей машинки и с кипами черновиков. Лиза пробовала носить его сама, да он тяжёл для неё оказался. Но приглянулся однажды гребень заезжей гостье — московской работнице здравоохранения, — такой нарядной,

что Бухмин, заглядевшись на её крепдешиновные высокие бока, счёл за честь порадовать кудрявую врачиху-гречанку трофейным этим подарком. С имперским гребнем на затылке та уехала из Столбцов к себе в Москву, а позже, говорил кто-то, что за рубеж, однако доподлинно это неизвестно.

Бухмин же выпустил вторую книгу стихов — про тяжкую войну, про отчуждённую землю, не доставшуюся врагу, про окончательную народную победу, — и стал наконец известным поэтом. Стихи его звонко читали лучшие пионеры на слётах. Сам он тоже много выступал; перед теми же пионерами, комсомольцами, допризывниками. Наказывая служить — верно, чуждой земли — не желать, своей — не отдавать ни пяди. Его словам хлопали сильно, всегда.

А многодетная тётка Родина писать ему из Тирасполя к тому времени уже совсем перестала. Но в праздничных шумных застольях он вспоминал иногда про Шарика, сошедшего с ума, про выкуренный напоследок табак первой мировой... И про вдовую тётку Родину со шпагатной бечёвкой в коше, которая всё-то ходит где-то — с ножом в кармане мужского просторного пиджака... А ещё упоминал непременно про тираспольскую замечательную, всегдашнюю её приписку: “Целую тебя в маковку тысячу раз!”... И все смеялись.

\* \* \*

В барачной котельной особого света не требуется — Василий Амнистиевич прикрыл огромную чугунную заслонку не плотно. Уголь в печи ещё не прогорел. И видно истопнику с лежанки, как пляшут мелкие синие огни поверх бугров, подёрнутых сизой нежной золою.

Если всё отражается во всём, думает он, развлекая себя, то стоит сейчас встать и дёрнуть за верёвку несколько раз, то охнут, вздохнут, выдохнут морщинистые кожаные меха — и тут же взовьётся сизая пыль, пахнёт из печи угарной вонью, и взметнётся рваное, пляшущее, весёлое пламя: тогда маленькая печная вселенная оживёт, едва подбросит он, её властелин и повелитель, пару-тройку лопат уголька, покряхтывая и слезливо моргая от жаркой рези в глазах... Но топлива на эту зиму отпущено в обрез, и подбрасывать часто в самом начале холодов не следует.

Жаль, что с каждым годом всё больше тепла уносится в холодный воздух улиц, сквозь давно проржавевшие трубы, проложенные когда-то поверх советской общей земли и обмотанные стекловатой как следует. Она свисает с них теперь из-под прорванной станиоли грязными бородами, которые треплет ветер. Так что отапливает в основном эта котельная вольную степь, неоглядную и равнодушную. Много на наших просторах сгорает без толку, летит на ветер, — и труд, и судьбы, и сырьё, размышляет истопник... Но всё же слабое, малое тепло окружает отсюда в маленькие бараки. Пока доходит...

Всё малое живёт жизнью быстрой, думает он, чтобы не уснуть надолго — навечно. Чем мельче система, тем скорее проходят в ней процессы, позёвывает истопник, почёсывает бороду и трёт веки, воспалённые от летучей едкой золы. Самая горячая точка печной его вселенной — некое местное Солнце, оно остывает не миллиардами лет, а поминутно.

А вон там, почти на краю системы, должна находиться гигантская, по всем печным меркам, планета Уран, окутанная метановой дымкой... И одиннадцать чёрных колец окружают, наверно, планету, вертящуюся странно, почти плашмя, — кольцо Альфа, кольцо Бета, кольца Гамма, Дельта... Поесть, что ли, хлеба с луком? И хочется, да лень.

И Василий Амнистиевич, подрёмывая, рассуждает дальше — о том, что люди называют преисподней. Это раньше предельная концентрация злобы, воюющей с Создателем миров, малых и великих, была загнана внутрь земного шара. Она не мешала существовать раю на земле. Потом что-то свихнулось, исказилось в людях — и они стали носить в душах своих и светлый, лёгкий рай, и грузный, злобный ад... Отяжелевшие от сообщения с преисподней, души падали вниз. Но Богочеловек, пришедший в мир изменившихся людей, показал, как следует перерабатывать своей жизнью ад в рай.

И многие затем сделали эту болезненную, сложную переработку единственным своим трудом, хотя были всего лишь людьми. От этого души их, становясь невесомыми, поднимались вверх, всё выше...

\* \* \*

Если предположить, что уран — совокупная душа Земли, думал истопник, то, прошедшая через истребление ада в себе, она возносится, соединяясь с Небом, — соединяясь космическими умными станциями, внимательными спутниками и тружениками-кораблями. Однако опомнившееся зло, вырвавшись через вскрытую, испорченную землю, устремилось из преисподней ввысь, следом — чтобы воевать против добра уже в космосе.

Конфликт добра и зла разрешится там, вверху, не в пользу последнего, но как будет происходить меж звёзд и на Земле решающая страшная битва двух первоидей, человеческому уму ещё не открыто... И гнусную научную разработку пытается осуществить под благовидным предлогом некий фанатик, спрятавшийся в Штатах: этот учёный подлец замыслил ядерную бомбардировку Солнца.

Добыча урана идёт полным ходом, в разных уголках Земли, для таких учёных и для таких богачей — умственных циклопов, в головах у которых место рассудка занял беспощадный одноглазый доллар, взирающий на мир употребительно, алчно... А здешние урановые залежи, не добытые, не переработанные, подогревают потихоньку всю вольную планету. К центру Земли концентрация урана падает. И выходы урановых руд на поверхность довольно редки... Красит трёхвалентный уран здешние озёра в малиновый цвет. Шестивалентный — в жёлтый. И чудо как изумительно красив четырёхвалентный, в котором больше плутония — гибельные изумрудные озёрца сияют в дикой степи по весне там и сям... Но движение мирного атома ввысь пока прекращено. И урановая шахта давно заброшена, закрытый военный городок близ неё покинут военными — он разрушается потихоньку.

Местные люди никогда без принуждения, без приказа не приближались и не приближаются к месторождению. Если не считать, конечно, монаха Порфирия, садовую голову... Где-то нашёл приют этой ночью бродяга? В каком чужом углу прикорнул? Или, в самом деле, на поезд махнул? Чудное бормотал он как-то спросонья, засуетившись под утро:

— За людешек придётся хлопотать. Насчёт послабления в страданиях... Поеду, поеду... Не докричаться мне отсюда по причине ничтожества моего...

Но ведь наказано было ему: к политикам — не приближаться. К кому собирался? Про что толковал? К чьей помощи устремился, торопыга? Ох, воистину: садовая голова...

\* \* \*

Совсем редко заглядывал монах-шатун в котельную, где ночевал обычно без всякого смущенья, растянувшись на столе, обитом листовой сталью, в своей верблюжьей валяной шапчонке, похожей на выцветший засаленный котелок: теплынь, благодать! Рыса у монаха — вся в пёстрых заплатках. Поддёвочка у него старая, но широкая, стёганая; и постелить, и укрыться есть чем. Сияет, бывало, перед бродягой малая печная вселенная — прямо перед глазами его, сузившимися, как у калмыка, от слепящего степного солнца, от колючего блеска бескрайних снегов, от резких бликов талых вод, сбегающих по весне в малиновые, изумрудные, жёлтые озёра. Но что Порфирию свет и тепло печной вселенной? Когда светит ему, и согревает его изнутри, Слово чистейшей правды.

— Воины учёные, бестрепетные! Не я, презренный Порфишка, глаголю вам, но — Писание!

Так неделю назад покрикивал он, ворочаясь на листовой стали и поджигая старые ноги в толстых шерстяных носках, подаренных заботливыми старушонками:

— ...Глаголет Писание! “Проклят нарушающий межи ближнего своего!..” Но опять пролез к нам двоедушный папёжник, лукавствующий, сребролюбивый, сквозь наши границы. Не с осьмиугольным крестом византийским истинным: римский четырёхугольный усечённый крыж в деснице его! Басурман, прельстившихся двусмысленными выгодами, притянул он в союзники и славный закрытый город Курчатов полонил. И вот она, его, папёжника, власть над нами. Над всеми... Вот она оказалась какая, разъединившая нас, разорившая, размоловшая судьбы людские в пыль...

— Всё так: миллионы судеб выброшены на ветер, — важно поглаживал бороду истопник. — Миллионы ушли в пустоту... И уходят, уходят — без края, конца: сгорают без толка, без смысла...

\* \* \*

И со слезою глядел из угла на лежащего Порфирия молодой Кореvко, успевший быстро почистить дома картошку и пробравшийся назад окружным путём — петляя по проулкам, избегая открытых мест пустыря, пригибаясь в лощине, меж кустов бурьяна. Удачно миновав невидящее окно грозной Тарасевны, воротился он всё же, безработный инженер, к малому печному солнцу, чтобы осмысливать здесь, в котельной, законы жизни как следует, в совете и дружбе.

— Проклят! Да. Нарушающий межи, — утирал Кореvко клетчатый платком крупный нос, влажнеющий от высокого чувства. — Правое наше дело: заградить внешние межи.

— Дырявые вовсе стали они теперь, — кивал им с топчана истопник Василий Амнистиевич, иссохший, как старый карагач, потерявший давным-давно счёт годам и надеждам на разумную власть. — Видимые силы нас подвели! Но силы невидимые — с нами. Так вот, что касается невидимой охраны границ: я — о двухурановой плазме... Рассмотрим предыдущие наши вычисления, не-товарищи — не-граждане... Раньше мы были — не товарищи, так граждане — все: непременно. А стали теперь — совсем уж никто. Ни те и не другие. Да и не третьи! Мда... Мы не господа, господа не мы...

И уж сам несёт закопчённый алюминиевый чайник на уголья молодой инженер, хозяйничая привычно. А истопник со своего топчана говорит ему в спину, почёсывая, поглаживая, захватывая в кулак седую бородицу:

— Всё-то клонило вас, друг мой Кореvко, в сторону исследований продольного магнитного поля. Так вот, прежде разговора о необходимости воссоединения раздробленного советского пространства вернёмся к беседе о синтезе ядер, а именно — о ядерном клее из мюонов... У рыхлого пространства надёжных внешних границ не бывает. В нём вырастают лишь новые и новые перепонки сорных, ядовитых лжеграниц, которые множатся неостановимо и болезненно для всего живого... Что ж, братья верные, начав с клея из мюонов и сближения ядер, перейдём постепенно, через анализ ионных двигателей, к вопросам возможных установок... Установок по границам заповедной нашей державы, воскресающей из разорения, оживающей на обломках раздробленности — неостановимо...

— А там дойдём и до сбережения границ души! — уточнял с металлического стола лежащий Порфирий, воздымая руку. — Ибо глаголет Писание: “Проклят нарушающий межи ближнего своего!..”

\* \* \*

Так неделю назад неторопливо рассуждали они в пляшущем неровном свете печной вселенной — двое изгнанных из науки учёных да монах без пристанища, оказавшиеся в своей стране как в чужой... И хоть к беспаспортному Порфирию особо ласковой родина не бывала никогда, однако запрета ношения рясы за его проступки так никто на монаха и не возложил, и очень он был этим счастлив, потому берёт её пуще всего. Носил при себе крупную



цыганскую иглу с намотанной на неё длинной суровой ниткой. И при каждом ночлеге в чужом доме первым делом искал он клочок ненужной тряпицы, чтобы залатать, чтобы стянуть на рясе малейшую дырку, пока не разошлась она в опасную сквозную дырищу.

Пёстрые эти лоскуты делали Порфирия повсюду человеком, весьма отличимым от прочих. На подоле, к примеру, алел кружок, вырезанный из детского носка, изношенного понизу, но вполне крепкого сверху. Зеленела также на правом боку особо надёжная заплата из старой солдатской гимнастёрки. И даже крепкий угол выцветшего бабьего платка весьма уместно синел на левом его локте.

Конечно, тут, в котельной Василия Амнистиевича, даже клочка материи срезать не с чего было монаху-шатуну. Только и оставалось, что полёживать в тепле, горько припахивающем гарью и тухловато — золою, да толковать, поглядывая в топку, о дырявых межах — прохудившихся, сквозных...

— Да... Правое дело — заградить межи! — повторял Порфирий басовито тихим людям кропотливого книжного знания. — Заштопать их надобно научным путём. Излучением каким-нибудь, токами невидимыми заградить, чтобы зло под притворной гримасой добра к нам не устремлялось, и не продувало бы нас оно гибельными своими сквозняками навывлет. Потому как на видимые силы надежда ныне плохая... Да ведь уж проклят он заранее — всяк, нарушивший межи ближнего-то своего!..

\* \* \*

Про Порфирия говорили разное. Будто давным-давно принял он пострижение от кого-то из епископов, тайно рукоположенных в местных лагерях и епископство своё затем скрывающих десятилетиями — из-за недоверия к властям, заражённым нечистым зверем издавна: задолго, вроде бы ещё до всяких революций.

Было в жизни Порфирия, впрочем, и служение почти открытое, когда стараниями верующей руководительницы при швейной фабрике захолустного районного центра устроена была в степях, негласно, церковная комнатка с малым числом прихожан. Вся паства состояла тогда из семерых посторонних работниц, овдовевших в войну, из местных трёх старушенок, пятерых молоденьких швей-мотористок да одного кроткого приезжего математика, перепуганного до смерти разверзшейся пред ним в одночасье страшную бездной цифровых всеобъемлющих значений, отчего чуб его вздыбился ещё в институте и уж не повиновался больше расчёске, как его ни мочи — водою ли, пивом, яичным ли белком...

Сбежавший сначала из далёкого сибирского научного центра, а затем из психиатрической городской больницы в эту глухомань, залётный математик с головою, похожей на дикий куст, безропотно служил при фабрике в отделе технического контроля. И хотя числился он браковщиком-сертификатором, но наладкою швейных машин занимался также, не считая механику за работу. Напротив, развлечением было для него прострочить в итоге длинный победный шов, прислушиваясь к ладному шуму металлических суставов, приведённых в совершенную, жизнерадостную трудовую норму.

\* \* \*

Лишь спустя время вдовы были сосланы на Дальний Восток, швей-мотористки изгнаны из комсомола, а математик со вздыбленными волосами уехал в город, оформлять инвалидность, да так и не вернулся. Но в те самые поры, при странном попустительстве местного руководства, любившего, впрочем, играть ночами в карточную игру — буру и потому дремавшего днём, с открытыми глазами, по всем своим кабинетам, успел Порфирий многое. Между тайными службами на фабрике, между тихими крестинами и краткими отпеваньями, соорудил он из списанного грузовика автомобильную

избу-крестильню, работающую на солярке. Не один, конечно, а с помощью того же бывшего математика, навек потрясённого неумолимою логикой числового бездонного хаоса — хаосом не являющегося.

Сильнейшая математическая травма совсем не мешала потом сертифицикатору водить машину по пыльным глухим дорогам — без водительских прав, но с огромною скоростью, пренебрегая всяким торможением: кочки и ухабы регистрировать вовремя бедный вылеченный ум его был уже не в состоянии. Во всём же прочем был он тих и неспешен, а нуждался в единственном утешении: чтобы время от времени читал над ним Порфирий старенький требник, хотя бы шепотком.

И колесил тогда Порфирий по всей дикой степи, принимая в лоно матушки-церкви совхозный да колхозный пугливый люд за многие даже сотни километров от Столбцов. Торопился Порфирий очень и тем доволен бывал, что крайне редко партийные люди в посёлках изругивали его самого — мракобесом, религию — опиумом, а стремительную автомобильную избу Порфирия — “газовой камерой” и “душегубкой”. Да он ведь и останавливался-то всегда за околицей, не на виду, никого особо не беспокоя. Туда и бежали к нему украдкой целеустремлённые женщины с кричащими младенцами на руках. Степенные мужики вели под руки хворых и недужных — горбатых, трясущихся, хромых и обычных, но помирающих на медленном, спотыкающемся ходу, — и босоногая ребятя толпилась поодаль, глаза на происходящее немо и удивлённо.

Однако живейший, деятельный тот период оборвался довольно резко — когда к шахтному оцеплению вдруг подкатила на невысказанной скорости странная эта крытая машина с высокой чадающей трубою.

\* \* \*

Кое-что вспоминал о невероятном том событии и сам Василий Анисимович, давно перешедший из физиков-теоретиков в практики: сначала — не по своей воле, а там уж и по своей. В БамЛаге, правда, он валил лес недолго, зато в “шарашке” под Магаданом оставался вольнонаёмным несколько лет кряду и после освобождения. Осторожность его состояла в том, что, вернувшись на прежнее, почти столичное, место службы, рисковал он подвергнуться новому доносу и тогда уж мог угодить в место, подобное страшному Бутугычагу, располагавшемуся от “шарашки” неподалёку. Но, даже удостоверившись окончательно, что время устоялось, возвращаться в прежнюю жизнь предательств и потерь Василий Анисимович не пожелал. Зато по ходатайству от науки отправился он без колебаний в степные незнакомые края, где не было отрезшей от него весёленькой жены и вообще — никого из прежних знакомых, кого бы хотелось ему застрелить при первой же встрече. А был лишь открывшийся недавно *спецрудник*, добывавший *спецруду*...

Уже тут прозванный Амнистиевичем, он даже выскочил будто бы из степной своей конторы — поглядеть, что за чудака в рясе треплют особысты на проходной и звонят военному, партийному, а также церковному начальству, и досматривают машину с усердием. А это рьяный Порфирий решил вдруг попытать счастья на новом направлении — в единый раз, наскоком, окрестить весь уголовный подземный люд. Поблизости проезжал, да уж попутно и тут вознамерился потрудиться, по одному лишь пылкому движению сердца, полагая, что в выходные дни обычного строгого контроля за происходящим на *спецруднике* — нет.

Но военное начальство, как видно, в буру не играло — ни ночами, ни даже по красным, выходным, праздникам. И кротко доказывал Порфирий, садовая голова, насторожённым людям в погонах, увещевал их с любовью: дескать, тем, преступившим закон, приговорённым к гибели тела, всё равно помирать, а ну как среди них есть и ложно обвинённые, ни за что в подземелье каменном пропадающие? Что же им, оклеветанным, преграждать путь в Царствие Небесное? Тогда как и разбойник уверовавший вошёл в него первым. А риска тут нет, мол, совсем ни малейшего, поскольку донести об этом

суровым властям не сможет никто: пожизненный срок такой возможности подземному нынешнему доносчику не оставляет, даже если таковой среди заключённых отыщется. И так-то складно-ладно говорил тогда Порфирий, что объяснение его лилось-катилось, будто по маслу. Однако ж...

Бо-о-ольшой, говорят, случился скандал. Выпустить-то Порфирия выпустили, да только прежде к церковному начальству повезли, далёко-далеко от Столбцов, и в сопровождении людей в штатском. Тут поперёк власти не пойдёшь, тем более что наладился Порфирий объяснять уже тогда всем и каждому:

— Братцы! Что ж мы как переводим? Точнее ведь будет: “Не власть, если не от Бога, **истинные** же власти от Бога учреждены!” Поглядите, братцы, сами — на буквы, на слова святыя! “Не власть, аще не от Бога!..”

И опять твердил, заглядывая в глаза одному да другому, подёргивая за рукав, останавливая:

— От Него — только подлинные! Не всякие власти, значит, братцы, нам указ! Не всякие!..

Прикрикнули тогда на него сановные грамотные люди в клубуках: “Нижки, стропивец! К политике с такими речами — ни ногой! Смирению сначала поучись!.. Как достигнешь смирения, как расквасишься до конца, тогда и вернёмся к твоему делу. А пока... Ступай! Смирайся! Ступай, бусеслов...”

\* \* \*

Избу-крестильню в райцентре сразу же после этого спешно сдали на металлолом, слив остатки солярки прямо в землю, — при озабоченной милиции, нагрянувшей из самого города, и при всём конторском руководстве, очнувшись вдруг от дневного сна и неожиданно посуровевшем. Начальницу швейной фабрики уволили и отдали под суд — за своевольное использование производственных площадей не по назначению. Куда она потом подевалась, никому не известно доселе. Но тем самым строгим сановным людям в клубуках удалось, как видно, оказать Порфирию большую, неслыханную милость, что было весьма сложным делом по тем суровым атеистическим временам. Не сослан он был и не заключён, а только изгнан для обретения смирения, на исправительные душевные работы. “Ступай!” — и только-то...

И вот уж почти полвека наработывает он смирение, всё больше ногами. Ступает, ступает, топает без усталости. Будто седой медведь-шатун, который десяток лет бредёт Порфирий от посёлка к посёлку, шагает весною мимо изумрудных, малиновых, жёлтых озёр, по розовой влажной земле — нежной, будто кожа заболевшего младенца. Месит бродяга Порфирий растоптанными, тяжёлыми башмаками сыпучие снега на тракте, уминает рыхлую горячую пыль по кривым просёлочным дорогам, а смирение всё не прибывает: нет, не власть нам та, что не от Бога!.. Которая не от Бога — никакая она не власть нам, нет...

А слух о незадачливом Порфирии всё гуляет по степи, из края в край, из года в год, будто разносимый ветрами, выюгами да тальми разноцветными водами, и достигает он самых даже благолепных храмов, омолодившихся заметно в последние годы.

\* \* \*

Бывает, что забредёт Порфирий в один город, в другой ли. Побегит на колокольный звон, не смея шагнуть в ворота, прильнёт к церковной ограде, воздев руки. И лишь только примется Порфирий молиться открытому небу, так и выйдет к нему с церковного двора какой-нибудь служка. И, оглядев приметную рясу его в пёстрых заплатах, спросит сочувственно:

— Ну, что? Всякая власть от Бога?

Заплачет Порфирий, опустит голову, да и скажет служке, не вставая с колен:

— Нет! Не всякая. Только подлинная — от Него.

— Ну-ну, — покачает головою служитель. — Не уразумел, значит, бедолага. Что ж ты какой несподручный...

— Прости бестолкового: не получается никак. Власть злого растлителя над кротким дитятей послушным... не могу принять за подлинную, хоть убей ты меня!

— Тише, не кричи. А кто такому преступлению путь открыл, к дитяти своему? Не сам ли человек отступничеством своим?

— Власть греха — не власть Бога. Не признаю такую за подлинную!

Вздохнёт служитель, да и подосадует в сердцах, озираясь по сторонам:

— Что человеку до правильности написания, когда весь он в грехах, как овца в рёпьях? Ну, беда с тобой, упрямым. Хохол ты, что ли, братец?

— И не хохол, да вот...

— Ладно. Ступай отсюда, не смущай смиренных, — скажет, бывало, служитель, возвращаясь торопливо в церковный чистый двор и скрываясь за крепкою кирпичной оградой от слов странных, непривычных.

— Ступаю, — глядит ему влед с тоскою Порфирий. — Ступаю... Чего мне ещё остаётся, бестолковому...

А там уж и топает он по людному тротуару, понурясь. Бредёт, весь в цветных лоскутках, куда глаза глядят; лишь бы выбраться как-нибудь из душного города, густо воняющего то жжёной резиной, то душиной бабьей пудрой, то подвальной капустной гнилью да приторной фабричной карамелью.

Но утешает его пламень любви к ближнему, разгорающийся в сердце с годами всё ярче, отдренней...

\* \* \*

Бежит Порфирий к милым, просторным степям, скрывающим в недрах своих опасное излучение пород. А человеческое-то излучение в скопище густонаселённом разве не опасней того? Несёт он страждущим привычно в убогих глинобитных своих жилищах слово утешительное, приветное:

— Господь тебя любит, матушка! Ишь, как очищает: и дёсна твои голы, как у младенца, и телес на тебе уж мало осталось. Обвисли телеса твои за долго до положенного срока, мотаются ветошью неприглядной, дряблой, но дух, высвобождённый из плоти, в очах многослёзных сияет... Радуйся, матушка, страдалница безмолвная! Труженица неуёмная, старушонка согбенная, кроткая, — радуйся, родительница многократная, и веселись! Венцы тебя ждут небесные в кринах сельных, благоуханных. Да, милая! Да!..

Глядь — с веником в руках и прослезится та, сама не понимая, отчего; то ли от радости, то ли с перепуга. Посмотрит старая влед Порфирию из-под грубой ладони, пощурится, а там уж снова сметает пыль подальше от калитки, к самой дороге, сочувственно бормоча:

— Ишь, пробрало лебедика. Сколько чудного наговорил. А спрашивал чего? Недослыхала я этим ухом... Водицы, видно, испить хотел! Убёг, не догоню...

\* \* \*

И в самом деле: пёстрые лоскуты, нашитые на рясу в изобилии, мелькают уж в другом конце улицы. Дальше мчит Порфирий, пока не остановит его лобознательным вопросом сомневающийся в правильности своей жизни прилежный человек, готовый предложить бродяге и пищу, и кров за одно-единственное пояснение: долго ли ещё ждать людям правды? Или, чем дальше от земной жизни Христа, тем меньше и меньше будет её, пока не иссякнет правда совсем, вместе с запасами пресной воды и энергетического сырья, распродаваемого властями налево-направо, в очень спешном, паническом порядке...

— В тебе самом правда прибывает — или убывает? — спросит его Порфирий тут же, прибавляя внушительного рокота голосу своему. — В тебе придёт, и в мире придёт.

— А по мне — чем больше её в нас, тем меньше — в мире, — пожмёт плечами сомневающийся человек и на Порфирия поглядит искоса: что значит не настоящий поп.

— Да ты не слушай меня, голову садовую! — поддакнет ему Порфирий охотно. — Наговорю я тебе семь вёрст до небес. Меня ведь и кормить-то не за что. Подстилку мне в чуланчик тёмный брось, я и переночую на полу, рядом с ведром помойным. Вот и самая подходящая будет мне компания...

Только недостаток смирения в нём самом стал сказываться со временем таким мучительным образом, что людские грехи Порфирий начал ощущать всё чаще, как самые скверные запахи. Да, по запаху он различал их теперь поневоле!

\* \* \*

Хитрость имела запах сладковатый, химический, тошнотворный необычайно, отчего начинались у Порфирия спазмы желудочные, как от обильного сахара. Похоть мужская разила душным козлом за версту. От злопамятства тянуло прокишими, заплесневелыми щами. Людская жадность — тайная, лицемерная — припахивала тухлым творожком. Высокоумие отдавало аптечной загустевшей цинковой мазью, как если бы Порфирий её не нюхал даже, а ел. Полною ложкой, принудительно, сверх всяких возможностей человеческого организма... Тех же, кто занимался мучительством своих домашних, отличал он по резкому запаху грязной овчины...

Вот подойдёт к нему, бывало, опрятная молодка спросить житейского совета. А Порфирия так и обдаст запах разлагающейся человеческой плоти — нестерпимый, трупный, сбивающий с ног. Другим это нисколько не ощути-мо, а ему дышать невмоготу. Крикнет Порфирий голосом раскатистым, прежде всякого разговора:

— Скольких русских людей убила ты, Гитлер в юбке? Отвечай! Троих ли истребила во чреве своём?

Отшатнётся молодка:

— Троих, батюшка, — и затараторит, сердечная: — Мне бы молитовку такую, чтоб я прочтала её, сколько нужно раз, а Господь бы мне всё простил. В этом нуждаюсь.

Уставит Порфирий указательный непреклонный палец бабёнке в лоб:

— Какая тебе молитовка? Троих родишь на место убиенных! Теми кровями, родовыми своими, чистыми, омоешься!

— А кормить-то их чем, ещё троих, когда у меня уже двое хоть какой-нибудь еды просят? — ахнет бабёнка, прослезится от беспомощности. — И так от нужды пропадаем...

— От неверия ты пропадаешь, чрево трупосное! Могила мертвящая — чрево твоё. Носило оно жизнь, но отказалось от природы своей исконной: смерть носить приучилось! Уйди, сказал. Совсем задушила меня “одеколони-ми” своими... погоди! Это кто? Муж твой столбом там стоит, головою при-толоку подпирает?

А около того и вовсе не продохнуть Порфирию: смрадное дыхание у мужика, никем не замечаемое.

— Да ты не первая, что ли, жена у него? — хмурится Порфирий пуще прежнего, бледнея от головокругления.

— Вторая, — пятится бабёнка.

— Знатный же он военачальник! Приказы отдавал на убийство младенцев, аки Ирод, муж твой долговязый... И той жене отдавал, и тебе... Ты вот что, баба: пятерых рожай, если сдозишь! Пускай кормит. Себя спасёшь, его очистишь. А не то... Как Ирод хворал и умирал, знаешь ли?

— Нет.

— А ты узнай. И ему скажи: тою же смертию, иродовой, он прежде срока помрёт, от гниения места детородного, детей своих палач... Да не медли, смотри, если муж тебе дорог! Делом, баба, кайся! Не поклонами... Храни вас, Господи, болезных...

\* \* \*

Зато девы непорочные, прилежные благоухали едва ощутимо — слабенько, чисто, словно робкое полевое цветенье. Добросовестные жёны замужние приносили с собою запах трав скошенных, лежалых, солнцем припаренных и даже перепревших малость...

Около воинов жертвенных пахло чистым металлом — вроде как хорошей сталью, а то — увесистою обширной кувалдой. От двух генералов, прошагавших как-то мимо Порфирия по своим городским делам, несло, помнится, позеленевшей, рыхлой медью иль бронзой лежалой, нечищенной: купоросный, едкий то был дух... А запах деревенских душ бесхитростных, ясных, бывал иной — свежий и очень Порфирию угодный; корою веяло от них, дубовой, крепкой...

Но когда в одной избёнке, и прибранной, и чистой, находилось сразу несколько самых обычных людей, грешащих густо, мелко, часто, без всякой даже особой нужды, а так, по привычке, уснуть Порфирию никак не удавалось. Даже виски начинало разламывать от удущья. И звоном комариным, назойливым наполнялась бедная его голова — так спорили меж собою запахи невидимой душевной плесени. От иного грешка потягивало куриным сухим помётом, от другого — шерстью лежалой, грязной. Веяло от третьего засохшей одинокой забытой портянкой. И часто, часто разило от содеянных чьих-то подловатых поступков кошачьей скудной мочою, хотя никакой кошки и близко не было в дому. Вот как донимали бедного Порфирия людские застарелые прегрешения, совершаемые в избе годами — по тайной зависти, по скаредности скрытной, по злобе мелкой, по себялюбию мстительному, неуёмному...

Он уж и молился при таком ночлеге в чужом, вполне пристойном с виду, углу, и к терпению себя понуждал, и обнохивал тело своё с пристрастием, чтобы обнаружить у себя самый наисквернейший запах, который оказался бы омерзительней любого прочего!.. Не помогало.

\* \* \*

И обличал самого себя бродяга Порфирий из года в год самым жесточайшим образом, изругивал шепотком последними словами то под одной чужою крышей, то под другой, а всё ж не выдерживал, как должно, по недостатку-то вожделенного смирения: срывался с места:

— Простите меня, голову садовую!

Так пробормочет, низко поклонится всем спящим, да и в путь, на волю, в пургу ли, в стужу; только тут и вздохнёт. И мир вокруг него тогда разворачивался дивный — упоительной свежести и красоты. Шагает Порфирий под луною, прикидывает: похоже, человек, подобный по составу этому природному ясному естеству, должен проходить сквозь любое вредоносное излучение пород совершенно невредимо для себя! Только — чу: не знает Порфирий, искушение ли это, такое тонкое, что и не уловить его грубым сердцем, или истина?

Бежит Порфирий по ночной степи всё быстрее, натягивает войлочную шапчонку поглубже, сильно трёт уши ладонями — отгоняет от себя умятование любое, на всякий случай:

— Прости мне, Всемогущий, непонимание мое: не разумею, как должно! Смирения не обретший, могу ли я верно рассудить?! Прости Порфишку немьтого Твоего, аки пса шелудивого, аки хоряка смердящего: раздумался что-то не по чину, своих грехов не обоняющий носом привередливым, своевольным, сопливым от широких степных сквозняков да от узкого, тесного рассудка... Аки умятвенно немощного и блудящего мыслию непрестанно, прости и помилуй мя, Всеблагий...

Ежится Порфирий на воле — под дождичком, под снегом ли. Кособоится от ветра хлёсткого, свежего, летит вприпрыжку без цели, наобум, с брезентовой торбой за плечом:

— Всемиловитый! Как хорошо!.. И сказано нам, чтобы были мы как дети... В мире, дивно Тобою сотворённом, в трепетном, в благоухающем,

наисвежайшем — как дети безхитростные чтобы мы были... Сказано нам. Хорошо!..

\* \* \*

Парафиновая свеча где-то рядом, в верхнем ящике комода. Спички должны лежать тут же. Вот они, под Нюрочкиной рукой. В крошечной тьме маленькая вспышка кажется ослепительной. Нитка фитиля пьёт подрагивающее пламя, вбирает его в себя, и спичка, истончённая, обугленная, медленно умирает, отдавая последний истончающийся блик пространству. Зато свеча, угнездившаяся в глиняном грубом подсвечнике, рождает радостный небольшой венчик света. И Нюрочка сонно улыбается, потирая колени. Она сидит на кровати, чувствуя, как её кровь толчками отдаёт грудным железам всё самое питательное и ценное. Саню пора кормить...

Но её Саня спит, отвернувшись. Он только хмурится, когда материнская рука тихонько поправляет его пелёнку. Ей, проспавшей бурю и не слышавшей ни уличного грохота, ни страшного воя, жаль будить Саню, хотя часы уже показывают время кормления...

Занавеска окна зашторена не плотно. Заспанной Нюрочке видно со своей кровати, какой стремительный странный снег летит с небес — будто белый ливень хлещет с высоты там, за окном. Снеговое мерцанье в ночи подвижно и трепетно...

Нюрочкина кровь, истощаясь, вбрасывает, вбрасывает в молоко, уже распирающее грудь, жизненные её силы. Самой матери довольно и того, что останется, а молоко накапливается, прибывает, но крошечный Саня спит, словно вслушивается в неведомое, приоткрыв рот.

— Саня... — шепчет Нюрочка в радостном свете свечи.

Она прикасается губами ко лбу младенца с мимолётной тревогой; нет ли жара. Младенец морщит нос, слабо зевает.

— Пора, пора, маленький, — берёт его на руки Нюрочка.

И кормит сонного, тёплого, прижав к себе...

Небесное снежное молоко струится на мёрзлую землю. Оно накапливается, снежное, прибывает — и будет прибывать до самой весны. Но только под солнцем молодая земля начнёт жадно поглощать его, растаявшее млеко небес, чтобы тут же выбросить из себя к свету растущие нежные зелёные побеги мелких трав, а потом и крупных. Из соков земли, напитавшейся небесной влагой, из тёмных отсыревших недр извергнется, поднимется к белому свету сила молодых растений. Так будет не скоро — когда очнётся и засияет горячее солнце.

— Саня... — гладит Нюрочка пальцем белейший ситцевый чепчик на темени младенца.

Молоко уходит, перетекает, поглощается, соединяя мать и дитя — слово у них снова общее тело. И им снова тепло и спокойно:

— Мальчик мой...

Небесное снежное молоко струится на землю.

\* \* \*

Прислушиваясь сквозь дрему, она успевает испугаться ещё одному внезапному пониманию, что ночь — это прошлое: тьма что смерть... День — настоящее: жизнь... Утро — предчувствие настоящего. А вечер поворачивает всё вспять. Во тьме люди не видят ничего, а думают о том, что запомнили при свете: что минуло, ушло, умерло — и что не повторится никогда.

Во тьме настоящего не видно...

Если бы так часто не отключали свет, Нюрочка с ребёнком не оказывалась бы так часто в прошлом... С электричеством ночь-смерть превращается в искусственную, но жизнь. А так... Прошлое подступает со всех сторон.

Нюрочка вздрагивает, преодолев полусонное забытьё, отирает свой рот старушечьим точным движением и укладывает сытого, потяжелевшего Саню в коляску. Надо прибрать упавшие венки, успевает подумать она, делая шаг

к своей кровати. В хозяйственном магазине давно нет длинных гвоздей, а с этих, коротких, вбитых на каждой стене комнаты и там, и сям, венки сваливаются то и дело.

Иван говорит, что надо сначала прибить широкие деревянные планки под потолком, а потом загнать в них крючья... Ожидая привоза, он заглядывает ещё на рынок, но крючьев, дешёвых и добротных, уже не будет. Появятся только очень дорогие, из-за границы. Скоро. Так сказала Ивану грудастая старуха, торгующая металлическим китайским ширпотребом, ломающимся от первого удара молотком.

Видно, Ивану придётся вытаскивать крючья где-нибудь на токарном станке, из старых железок... И Нюрочкино тело само, без её воли на то, уходит в ещё более глубокий сон, где уж совсем ничего не слышно, не видно, не понимаемо.

Тело укрывается в тупой непробудности, которая покойней и бесчувственной самой смерти. Нароботавшееся тело так устало, что прячется, уползает в беспросветное, опасное, запредельное небытие.

Пусть валяются венки... Лишь бы не двигаться. Не шевелить исколотыми пальцами. Не напрягать живот. И не кашлять, ни в коем случае не кашлять; тогда боль прошивает живот по рубцу и швам — крестом.

\* \* \*

Иван, конечно, женился на Нюрочке по глупости, по молодости, а не по любви и даже не по выгоде. Свекровь так и сказала им:

— Это брак глухой, молодой. Ничего хорошего.

И повторяла после загса, когда шла за молодыми, в толпе гостей — поющих, пляшущих, взбивающих осеннюю пыль каблуками:

— Деревенскую нашёл, бесприданницу — голей гороха. Ни матери, ни отца... Из такой дыры её вытащил! Ох уж эти ранние браки. Ну — ему с ней жить, не нам. Пускай, как хочет. А мы и платье ей справили китайское, и туфли турецкие купили. На нас ему обижаться грех.

Только толстая немая, сидевшая под сентябрьским солнцем на скамейке, у входа в барак, залюбовалась Нюрочкой-невестой и замычала, ухватив её за руку.

Я лично, сказала ей дебелая немая, ударяя себя кулаком в грудь, за такого, показала она на Ивана и скрючила палец, никогда, никогда бы не вышла, мотала она головой. А Нюрочка — красавица! Вот!

Утверждая так, немая обводила фигуру невесты обеими руками и радовалась, охлопывая: ну, так хороша, так хороша! И ножки-то у Нюрочки маленькие, стройные, ликовала немая. И бёдрышки такие ладные. А Иван — тьфу, нет: близко Нюрочке он не пара. Она, немая, рядом с таким даже по улице рядом, под ручку, не прошлась бы. Ни за что! Женишок-то — невидный...

Если сама немая и выйдет когда-нибудь замуж, то только за генерала. Другого жениха ей не надо. Утверждая так, она хлопала по своим плечам, показывая генеральские эполеты растопыренными пальцами, лицом изображала важность, мычала со значеньем... И уедет немая из Столбцов тут же, после свадьбы! У каждого генерала машина своя. Вот так генерал будет рулить, крутить баранку. А она, немая, прижмётся к нему, уронит голову на погон. Придётся подсакивать на сиденье, дорога в Столбцах — кочка на кочке. По ухабам ехать немой предстоит, пока не выедут они на гладкий, ровный асфальт. А что делать?.. Зато потом генерал будет крутить баранку очень быстро: вот так, вот так...

Иван, в тёмном костюме и галстукe, стоял в стороне, со школьными своими друзьями. Он оглядывался на Нюрочку и робел: нарядная, она казалась ему совсем другой — пугающе чужой, недостижимой. А весёлый свёкор, выпивший как следует, плясал уже перед немой вприсядку, выбивая пыль сапогами, и орал, раздувая ноздри:

— Раки! Оп! Раки! Жареные раки! Приезжайте в гости к нам, будем жить в бараке!..



Немая же благовоспитанно отстранялась, закрывала лицо руками и мычала тревожно: пьяниц она боялась и презирала.

— Тьфу! — сильно плевала немая в пыль, сделавшись красной от волнения. — Тьфу.

А свёкор кричал ей, подраживая:

— И кто на тебе, плеваке, женится? Сидишь? Сиди, репа немая! Плевака... Раки! Раки! Оп! Оп! Раки!.. Приезжайте в гости — все! Будем жить в бараке...

\* \* \*

Трудно сказать, что поняла немая из сказанного. Только, зарывав и вскинув руки к осеннему погожему небу, она тяжело промчалась сквозь толпу гуляющих — поющих, кричащих, танцующих — в свою комнату. Но даже из распахнутого окна всё равно гневно, трубно мычала: кто они и кто — Нюрочка? Не понимают, дураки!

..Нет отчего-то дебелой немой: комната её стоит закрытой уже полгода. И Нюрочке показалось странным, что вчера вечером, перед тем, как погас свет, из этой самой закрытой комнаты вдруг вышел младший внук старика, тощий как оглобля. А потом закрыл чужую комнату на ключ, будто свою... Нюрочка так удивилась, а затем так испугалась, что ничего и никому об этом не сказала. Только понялась, сделав вид, что занята своими делами. А там уж и забыла про всё за круговертью забот...

Но сейчас всё это далеко от Нюрочки. И сон её глубок. В глубине сна не видно ни зги. Толстая змея с разинутым ртом, в котором держится шарик слабого синего сиянья, не светит из коридора — теперь невидимая змея держит в зубах шарик тьмы во тьме. И в углу комнаты не видна тарелка обогревателя с пылающей спиралью... А китайский фонарик на батарейках сейчас далеко, должно быть — в камере предварительного заключения; его унёс с собою вечером Иван. И если он не вернулся к ночи, значит, попался снова на пути к столовой...

И тело её уже не помнит того, что рядом с нею должен быть Иван, а его — нет. Её тело не помнит даже себя, словно не было никогда у Нюрочки никакой жизни. Её нет... Нет... Как хорошо, когда человека — нет... Есть только тот, который родился: он есть на свете. Он уже здесь...

\* \* \*

Должно быть, оттого, что истопник далеко полночь взял да и набросал в топку такое большое количество угля, какое не положено было расходовать в начале зимы, белая бабочка замерла на самой вершине сна — и исчезла, оставив согрешшего старика Жореса в состоянии блаженного, безболезненного покоя. Она легко перепорхнула из сна стариковского — в Нюрочкин. И согрешшейся Нюрочке стал сниться тот самый летний пустырь за их домом, в совхозе “Победа коммунизма”, где никогда не играли дети, зато ей можно было там сидеть в полныи спокойно, в небольшой, пологой яме, и разглядывать босую ногой ржавую консервную банку, не видную в траве, и не наступить, поднявшись, на кусок проволоки... И теперь она, спящая, улыбалась весеннему прошлому солнцу...

Белая юная бабочка, совсем крошечная, трогала на лету сияющие цветки одуванчиков, но не садилась, а взмывала в синий воздух. Жёлтые цветы стояли на ровных розовых ногах и смотрели на бабочку радостно. Но бабочка-дитя летала над пустырём, легкомысленно кружила и не могла устроиться ни на одном из них, тянущихся к ней из своих зелёных кружевных листьев каждым тонким лепестком, словно лучом... Лишь три облетевших цветка спокойно грели свои лысые головы под солнцем и были равнодушны к её веселому воздушному нескончаемому танцу.

Но невесть откуда появился на пустыре громыхающий мотоцикл. Спиною к Нюрочке сидел на нём какой-то незнакомый парень в милицейской форме. Он погавал немного, запрокинув голову к небу... Бабочка-дитя села на заднее сиденье и уехала на мотоцикле в неизвестность. И жёлтое сияние одуванчиков на пустыре стало скучным, и бессмысленным, и тоскливым.

Однако ничего не изменилось для трёх лысых, облетевших. Их плешивые головы грелись под тёплым солнечным светом всё так же кротко. Они блаженствовали в тепле и покое отдельно от прочих, жёлтых, — отдельно от их молодого тревожного ищущего сияния.

Старые были лысы, как младенцы, и, как младенцы, безмятежны...

\* \* \*

На том покинутом Нюрочкой пустыре теперь уж и вовсе никто не бывает. И холодно там, и давно не помнит полагая, обжитая когда-то яма человеческого дыханья и взгляда. Так казалось Нюрочке, оцепеневшей в светлом своём сне с двойным дном: безлюдность брошенного, осиротевшего пустыря проглядывала всё же сквозь радость, будто сквозь раннюю весну проступала поздняя осень.

Но всего лишь несколько дней назад, перед самым утром, пробежал по холодному тому пустырю к тракту, напрямик, стремительный человек в чёрной длинной поддёвке, в ветхой рясе с цветными заплатами. Ключки, тряпки, лоскутки из самых разных домов хорошо напоминали ему о каждой здешней душе, за которую он должен был молиться и пожизненно, и после смерти своей. И шептал он, выбираясь из той пологой ямы, отдирая с подола цепкие сухие репы:

— Будьте как дети... Главное — что? Будьте как дети...

И озирался он тогда в сомнении, преодолевая уходящую тьму сощуренным взором:

— Вроде вдоль Жёлтого озера должен был пройти, берегом ровным, сухим, а где оказался, непонятно... “Победа коммунизма” это, что ли? Или уже отделение “Интернациональное”?.. Куда занесло меня, голову садовую? Через такой бурьян разве к тракту проредёшься?.. Будьте как дети. Будьте как дети...

Но на проезжую часть он выскочил со своею брезентовою торбой неожиданно легко, и даже подремал потом в кабине молоковоза, выхватившего его из дорожного мрака и холода трясущимся слабым светом фар.

\* \* \*

Вот так же, в состоянии светлом, умильном, добежал бродяга Порфирий от молкомбината, стоящего на отшибе, до самых Столбцов. И нырнул он вдруг поутру в полутьму огромного подземного цеха. И оказался у чуханов, где сидел потом на пустом перевернутом ведре, возле огромной металлической бочки с химическим раствором, перед оборванцами, ещё сонными, поднимающимися со своих картонных и тряпичных подстилок. Те глядели на него пустыми белёсыми глазами из мрака. А ничего тёмного было не различить вокруг, потому что холодному свету, падающему скудными редкими полосами с большой высоты, из тесных оконцев, удавалось коснуться не многого. Громады металлических лестниц и пустых ржавых пролётов не обретали тут своих очертаний, если не вглядываться в них с напряжённым, особенным прищуром...

И начал Порфирий, почти сразу же, толковать молчащим детям о Том, Кто их любит, ибо лишь ощутившим такую любовь открывается свет жизни, и мрак больше не страшен им. Да, верный, прямой путь даётся тогда всякому — страждущему, погибающему, грешному...

Чуханы не мешали ему говорить, только чесались и позёвывали, сидя на своих подстилках, да какой-то подросток в старушечьей вязаной кофте гул-

ко пил воду из трёхлитровой банки. Но вслед за Порфирием вскоре спустилась в подвал, по железобетонным звучным ступеням, девочка-проститутка, которую он видел стоящей на обочине тракта уж несколько раз, и чумазные лица детей прояснились. Все повернулись к ней, оживившись на миг:

— Алина...

\* \* \*

Она принесла им еды в двух тяжёлых полиэтиленовых пакетах. Порфирий, прервав свою речь, уступил ей ведро. Потом снял с себя толстый шарф из овечьей грубой шерсти и накинул девочке на голую шею в грязных разводах. Но Алина, пахнувшая не грехом, а только затхлой болезнью, сняла шарф и отдала его Порфирию, как помеху.

— Я к холоду привыкла, не чувствую ничего, — сказала девочка прокурренным голосом, кутаясь в длинный пыльный плащ. — Здесь брат мой. Он где?

Она вглядывалась в одинаково склонённые над едой детские лица. Чуханы не слышали её. В полумраке они ели куски слегка обжаренного хека безмолвно, движения рук их были замедленными, сонными... Тогда Алина протянула серую рыбу Порфирию и спросила его:

— Где?... Брат? Он маленький. В штанах военных. Они из отцовых перешитые... В камуфляжных штанах... Он где?

Тот взял безмолвно рыбу и принялся за еду со странным чувством: вокрут запахи стояли самые жуткие, но Порфирию только было печально от них — и всё. А пёсья вонь блуда, скользкого, липкого, и вовсе — маячила отдельно от девочки... Та вонь принадлежала не ей, а призрачным похабным теням, соединяющимся в кюветах, в кабинах грузовиков, в придорожных кустах.

Путаясь космами, тени-призраки спаривались и воняли за её спиной. Но от девочки пахло только пылью и ветром, да ещё затхлой какой-то болезнью, не встречающейся в здешних селеньях.

\* \* \*

Вдруг девочка выругалась — хрипло, коротко.

— Где он?! — прокричала она.

И хриплое, кущее эхо, отлетев от металлических высоких пролётов, заметалось меж стенами подвала.

— Нигде! — ответил равнодушный долговязый подросток в ондатровой замызанной шапке, самый старший из детей. — ...На вокзале побирается, может.

— Видал его кто-нибудь? — спрашивала девочка, сидящая на перевернутом ведре. — Видал?

Подросток пожал плечами, облизывая пальцы.

— Подыхать зимой начнём, — сказал он голосом ломким, равнодушным. — А на этой неделе не окочурился никто... Побирается! Он клей не уважает, дихлофосник... У ларьков трётся брат твой! Отвечаю.

Но совсем маленький мальчик, пухлощёкий и одутловатый, возразил из темноты, помочившись в стороне, под лестничным пролётом:

— Нет его там.

— Ладно, ешьте, — сказала Алина, не расстроившись, только устав. — Увидит его кто... Я ему белую рубаху купила! Для школы.

Девочка закинула ногу на ногу, прикрыла голые колени полою плаща и закурила, щёлкнув зажигалкой, похожей на леденец.

— В военных штанах он, — повторила она. — У него шаль пуховая под курткой. Мамина.

— Знаем, — откликнулись дети вразнойбой. — Скажем, если живой... На хрена ему рубаха?... Доживём — скажем.

Подросток же достал последний кусок из пакета, разломил надвое и протянул половину маленькому. Тот, пухлощёкий, взял без охоты.

— Мать твоя на вокзале тебя искала, — сказал девочке кто-то невидимый, сидящий за бочкой, в темноте. — Спрашивала всех. Вчера.

— Есть захотела, — кивнула Алина, затягиваясь по-мужски. — Кончилось у неё всё. Я много приносила! Она, когда психует, съедает быстрее. Плакала, значит, сильно... У меня больше нет ничего сегодня.

Девочка задумалась, опустив голову в мелкие пыльные косицах, перехваченных цветными резинками. Страхнув пепел щелчком, затянулась снова.

— Нам плакать нельзя: не прокормимся. Говорю — не понимает... Завтра ей отнесу, когда заработаю, — решила Алина, выпустив дым вниз, в бетонный пол, и сплюнув. — Чебуреков куплю, она любит. Ждёт их, наверно... А если меня какой-нибудь козёл опять далеко увезёт и в степь выкинет, тогда послезавтра... Я больная стала, сырая, мать не знает... Убьют меня за это! В степи. Скоро.

\* \* \*

Она поднялась с ведра, пахнущая пылью, болезнью, ветром, растоптала окурки и ушла, не попрощавшись. А Порфирий, которого занесло в подвал без всякой еды, а только со Словом, не знал теперь, что говорить. Душа его здесь отупела внезапно. И разум молчал: работа в нём застыла. “Будьте как дети”, — думал Порфирий, а дальше не понимал.

Поев, чуханы осоловели и ослабли совсем. Они разбрелись по тёмным своим углам. Иные и вовсе — отползали на четвереньках, ложились на картонные подстилки, укрывались тряпьем. Лишь долговязый подросток в ондатровой шапке уже лежал на толстом одеяле, под старую шубой. Он обнимал маленького, прижимая к себе обими руками.

Порфирий шагнул к ним, потом присел.

— Идём со мной, — сказал он маленькому с печалью и потянул его за руку. — Где родители твои?

— Нигде!

Малыш выдернул руку и захныкал вдруг, прячась под шубу:

— Нигде!.. Чего надо? Пристал... Нигде!

Подросток тем временем приподнялся, он шарил рукою по бетонному полу, рядом с одеялом.

— А ну, вали отсюда! — ломко прокричал он, замахиваясь на Порфирия гвоздодёром, и крупные глаза его сделались белыми.

Из глубины огромного подземного цеха, уходящего наклонно под металлический лестничный пролёт, слабо пахнуло трупом — не погребённым, иссохшим. И круглые дежурные часы высоко над дверьми вдруг ожили под слоем пыли. Они, огромные, застучали в полумраке оглушительно.

Дети подняли головы в недоумении. Но часы смолкли.

— Во, глюк! — удивился кто-то в полутьме.

И пухлощёкий малыш высунул голову из-под шубы.

— Ты, глюк, вали! — закричал он вдруг на Порфирия, взвизгивая и капризничая. — Вали отсюда, глюк!..

Перекрестившись, Порфирий побрёл к выходу. “...Милостивый! Прости мя, яко немощен есмь, — молился он духом. — Не разумею, как должно поступать. Ничего не разумею...”

\* \* \*

По дороге в котельную бродяга много плакал на виду у редких озабоченных прохожих. Потом останавливался пару раз, чтобы перевести дыхание, высморкаться как следует, зажимая пальцем одну ноздрю, потом другую, и утереться рукавом хорошоенько.

— Немощны, немощны стали, — сокрушался бродяга Порфирий. — Ослабли мы от прегрешений своих. И вот, стали всемоу покорные не по смирению — по неволе... Что делать нам дальше? Не разумею...

Вислощёкой старухе, выскочившей непонятно откуда, он дал увести себя в барак. И та всё спрашивала его, накрывая стол чистой белой скатертью:

— Молишься?.. Как жить нам? Скажи.

А он, не находя ответа, срезал кухонным её ножом угол чёрной рыхлой тряпицы, которым была накрыта трёхлитровая банка с осклизлым живым организмом, набухающим в коричневой воде и разрастающимся там.

Старая, суетясь, не замечала ничего. Со стуком поставила она посреди-не стола бутылку дешёвого красного вина и магазинный хлебец в глиняной низкой чашке. Порфирий же, выхватив нитку с иглой из поддёвки, уже пришивал сноровисто чёрную заплату на левую сторону ясы. Как раз на груди обнаружилась в ткани этим утром рваная дыра — изрядный клоч слов-но сгнил: выболел и отвалился.

\* \* \*

Озадаченная своими мыслями, старуха попеняла мимоходом, звякнув двумя граёными стаканами:

— Кто на себе шьёт?! Память свою зашьёшь, до склероза.

— А разве не крепче будет она? Пришитая?..

Потом старуха ругала его за пролитое вино, а за стенкой расплакался грудной ребёнок. И Порфирий пошёл туда, вслед за недовольною старухой. Он подхватил крошечного младенца на руки, собираясь прочесть над ним срочную молитву. Но вдруг услышал от самого себя, что читает он шёпотом — кондак: "...Хотя достойно совершити подвиг, возложенный на тя..." И всё это было как во сне, без его на то воли.

Ничего из происходившего с ним в бараке тоже не понял Порфирий, а побежал своим путём, под крики возмущённой старухи, несущиеся ему вслед. Однако уже что-то изменилось в нём самом, и в сенцы котельной он шагнул уверенно — спокойный, хоть и не знающий, как всегда, что именно предпримет и когда.

Там, напившись крепкого чаю из алюминиевой кружки с обжигающими краями, он призывал безработного инженера и бородатого старца-истопника укреплять границы души! Чтобы ни одна мировая чума не проникала в неё, в страну, беспомощно развалившуюся уже на части... И предрекал Порфирий проклятие каждому, нарушающему беззащитные теперь межи, и называл своих тихих собеседников воинами учёными, бестрепетными...

Переночевав в тепле, на металлическом столе, Порфирий встревожился под утро, засуетился, отыскивая ботинки. Хорошие то были ботинки! С кожаной многослойною подошвой, какие годились на то, чтобы ходить по железным накаляющимся пролётам металлургических горячих цехов...

Да, он всё искал ботинки, около рундука, за печью, около вёдер с золою и шлаком, приговаривая:

— Вот голова садовая...

А эти ботинки когда-то сами отыскали его.

\* \* \*

Ещё по ранней осени бежал Порфирий мимо конторы комбината, с которой сбивали иностранные чернявые мелкие рабочие, весело стуча молотками, прежний, устаревший, жестяной лозунг: "Владыкой мира будет труд!" И услышал Порфирий:

— Эх, выкидывать жалко. Нельзя!.. А носить — никому не под силу. Свинцовая есть в них тяжесть.

Человек в спецовке улыбался зло, через силу, и глаза его были влажны и дерзки от горя. Он остановился возле Порфирия со своею мусорной тележкой, гружённой канцелярским прежними документами, пестрящими формулами, графиками, расчётами. Страницы, растрёпанные, шевелящиеся на ветру, были придавлены дыроколами, вентиляторами, касками, вениками, но

не плотно. Глядя в расстройстве на растоптанные огромные ботинки, криво стоящие на куче, поверх всего, человек помолчал перед Порфирием.

— Возьмёшь? — думал человек о своём. — Славные они, известные! А со свинцовой прослойкой, чтоб подошва не горела... Ходил в них по цехам такой начальник, такой могучий начальник! Каких земля родит раз в сто лет, ума — великого: русского... Всё тут под его руководством делалось, днями, ночами. Тридцать тысяч работников за собой хорошо вёл, к ещё лучшему и лучшему производству. Он судьбу свою вбивал в наш металл, год за годом... Вот, продали комбинат. И начальство наше прежнее мрёт до срока. Бери ты, калика перехожий, коль не боишься умереть так же — от инфаркта.

— Ничего мне не заразно, — стал мелко кланяться Порфирий. — Ничего. Потому как сам я весь из заразы состою, из неистребимой заразы, называется которая “злой навик”, да. А заключается сей неистребимый изъян мой в привычке учить других — тому, в чём сам не преуспел, никудышный, никчёмный...

— Да что мне до твоей заразы?! — раздражился человек сверх всякой меры. — Заладил... Много же ты, видно, сам для себя значишь! Если столько о себе одном твердишь... Знаю таких! Ещё прощенье начнёшь кланяться, вымогать, непонятно за что. Уйди с дороги со своим “я”! Недостоин ты ботинок этих... Заладил!..

И осёкся Порфирий.

\* \* \*

Вовремя всё же успел он тогда остановить сердитого человека, готового катить свою тележку дальше, со всем отставным, прежним, добром:

— Отчего же переживание у вас всех такое... смертоносное происходит?

— А оттого! — прикрикнул человек на Порфирия. — Оттого, что все цеха третьего и четвёртого передела закрываем! Ликвидация у нас идёт!.. Ни легированной стали теперь высокосортной не будет, ни изделий из неё, а будут только отливаться здесь чугунные тупые шершавые болванки. Гнать за границу хотят одно полусырьё! По дешёвке... Всех лучших наших специалистов повыгоняли уже, брат-“якало”, на улицу. Куда семьям деваться, куда дети подадутся? За всё платить надо, а нечем будет... Один чёрный труд остаётся для нас! Какой для туземцев положен. Да и там уж давно рабочих мест нет. Кончились наши заработки. И сталь кончилась. Кончилось всё...

Жестяной грохот и стук молотков участился поверху. Один край лозунга, “Владыкой мира...”, со скрежетом сползал по кирпичной стене, другой — “...будет труд”, держался всё ещё и не давался весёлым иностранцам.

— А мощный был комбинат, — вздохнул человек. — Ну, берёшь ты их, нет? Смотри! Тяжеленные! По Луне в таких только ходить. Да и ношены долго.

— Беру, — потянулся Порфирий к тележке. — Сдую, сдую! У меня ноги жилистые от ходьбы непрестанной. Диким волосём они поросли на морозах и выюгах... Кто возле наших озёр ходит, у тех волосья лезут догола, а у меня — напротив, по греховности-то; шерсть на икрах густеет и в войлок — в колтун сбивается, да... Впрямь, неприподъёмные башмаки... И много годков ношены, но и мне их не истоптать. Посошок требуется к ним! Это что за черен там, в тележке твоей, торчит?

— От красного переходящего знамени черен.

— Пойдёт! — выдернул Порфирий древко из мусора. — Пойдёт — от красного, чистой кровью воинов наших освящённого. И обломан черен по росту, как раз. Вот так!.. Тот посох надёжней всего держит, которым бит ты ни за что, безвинно, до смерти даже, бывал, да... За кого молиться-то мне? Как начальника этого могучего, советского, звали?

— Владимир звали могучего, — недовольно буркнул человек. — Фамилию надо?

— Не-е-ет! Зачем она Господу?

— Затем! — горевали глаза человека сквозь слёзную злую поволоку. — Затем, что негоже фамилию такую стирать со свету! За знаменитого Мирко

молись, калика... Всё жизнью его сделано было здесь. Жизнью... А эти пришли — мелкие, прыткие. Присекали. На чужое... Уничтожают, вот...

\* \* \*

Он, снова покотивший тележку с отжившим прежним добром к мусорной свалке, ещё отирал лицо предплечьем, вздыхал:

— Чёрненькие, прыткие все... Спасу нет никакого...

— Владимир, значит, — говорил ему вслед Порфирий. — Владевший миром труда. И не совладавший с миром торговли. Вечная ему память, трудяге...

В тот самый миг рухнул на площадь с грохотом, разваливаясь на лету, край жестяного лозунга — с огромной, преогромной даже высоты.

— Ну, вот и всё. И владыкой мира труд уже не будет, — печально смотрел на новый сор и обломки Порфирий.

И смотрел он, печалась, вверх, на пустое место, долго прикрываемое лозунгом от пыли и копоти и потому — бледное.

— ...А владыкой, значит, будет огненные торговля. Торговля тем, что уже создано было тяжким великим трудом вековым, — бормотал он со старыми ботинками в руках, прижимая локтем сломленное древко. — Эх, люди, люди! Что же наделали вы, свернувшие с пути. Свернувшие с пути своего — на чужой... Свой-то путь только и требовалось, что подровнять малость, но подчистить изрядно, к душе применительно... Не подчистили...

И вот в котельной, достав, наконец, ботинки из-под стола, решил Порфирий окончательно:

— За людишек хлопотать пора. Насчёт послабления в страданиях.

Он стал обуваться, побряхывая в досаде на себя:

— Не докричаться мне отсюда по причине ничтожества моего. Нет!..

Сонный Амнистиевич со своей лежанки пообещал ему было чаю с сахаром. Но Порфирий, отыскав черен у кадки с водою, подпоясался верёвкой потуже и кинулся опретью на вокзал, ни свет ни заря.

\* \* \*

Уже через час с небольшим, в утреннем полумраке, бродяга Порфирий просился на поезд безбилетно, выбирая вагоны похуже, погрязнее, и переходил с посохом-древком от проводника к проводнику, кланяясь каждому, как носящему и образ, и подобие высшее. Те связываться с ним, однако, не хотели:

— Ступай, старик. Не мешай посадке.

— Ступаю, ступаю... Который десяток лет! И башмаков я много истоптал, ступая по этой степице. И вот теперь они у меня такие, что нет им износа. А смирения всё не обрету никак. Не даётся оно, заветное, мне, заблудшему...

И бежал за ним следом, от вагона к вагону, незрелый запах яблок зелёных, крошечных, вместе со старушонкой, иссохшей, будто осенний морщинистый лист. Без вещей, в ситцевом халате и накрывной шали, завязанной узлом на спине, она говорила угасшим голосом:

— С пустыми карманами, вот!.. Возвращаться пора домой, мне бы до Калуги.

— Без билета? Отойди, мать. Не до тебя.

И старушонка с готовностью кивала, и торопилась к другому вагону, и озиралась, стыдясь летнего своего одеянья и самой себя:

— У брата, на станции Чу, на одних яблоках можно было мне лето прожить, — шелестел её голос на холоде, рядом с Порфирием. — Я туда и уезжала по весне, чтобы под Калугой пенсия моя по доверенности шесть месяцев дочери шла, для внуков, на обувку к школе, на тетрадки... Теперь назад мне от брата пора, от бесплатной жизни — домой. Холодно стало, снег скоро пойдёт... Я бы и в тамбуре посидела!..

— Да как же ты, матушка, в Столбцах-то оказалась? Это же крик! — удивился Порфирий, досадуя слегка на неё, бегущую за ним по пятам неотвязно. — Что ж без пальтишка ты всякого...

Из-под шерстяного платка кротко глянули на Порфирия глаза скорбные, васильковые, — и обдало его, бродягу, такой несказанной женской состарившейся красотой, словно посмотрели на него враз все чистые озёра поздней осени, и речки, и речушки, покорные наступившим холодам совершенно.

— На какой поезд взяли, на том и поехала, батюшка... — шелестела старуха. — Довольна теперь очень. Я — что? А они — разутые, раздетые, дети малые, глупые. Там, под Калугой, на грибах живём, на ягодах. А к школе надо было им одежду. Взять-то негде... Вот полгода им пенсия моя целиком доставалась. А меня брат яблоками кормил, бесплатно у него до осени глубокой прожила. На станции Чу... Зато в школу детки пойдут. Целый год проучатся теперь! Прошлый-то пропустили, не в чем было им. А так — большая польза получилась для них, батюшка. Очень большая...

\* \* \*

И снова просилась старуха, заглядывая в лицо проводницы:

— ...Доченька, сойду, где скажешь. Возьми, хоть куда... Живём под Калугой, сноха второй год очереди ждёт, чтобы на свиноферме работать, а не движется очередь никак...

И оборачивалась она к Порфирию, махала рукою деловито:

— Нет, наши на поезд не возьмут, боятся всего наши, — и бежала дальше, вдоль состава, исхлёстанного холодной пылью и ветрами. — Надо вон к тем... Те старших уважают... Посади как-нибудь хоть в тамбур! Я ведь на станцию Чу без билета уехала в мае. Довезли добрые люди. А тут... Кончились у брата яблоки. Холодно стало... Домой мне пора... Муж-то у дочери в тюрьму сел за мешок картошки. С поля украл, от безработицы. А на свиноферме сокращения одни...

Но не слушал её и этот хмурый азиат-проводник — отворачивался от старухи, разглядывая пассажиров, бегущих с поклажей, разносчиц пива, конфет, сигарет, а ещё низкое морозящее небо. И равнодушным был жёсткий его прищур, и мятежно надламывал скулу проводника шрам глубокий, полукруглый. Запах давнего пороха, йода, кожаных ремней и денежных фальшивых обильных бумаг перебивал тут все прочие, съестные. Потому и опешил Порфирий, услышав:

— Заходи, мать! Смелее... Замёрзла в халате... Вагон переполненный. На третью полку влезешь? Одежду тебе найду. Заходи.

— Только ведь у меня...

— Какие с тебя копейки...

— А вот батюшку ещё с посошком, не прихватишь ли? Батюшка тут мыкается со мной, в заплатках он весь. Возьми его, сердечного.

— Ладно, — отвечал азиат недовольно. — Оба проходите... Знакомые таможенники попадутся, довезу. А незнакомые... Ничего, откупимся... Там быстрой — на верх, на багажную полку... Ну, лезь, мать! И ты, долгогривый, раз она за тебя хлопочет. Тебе-то чего на месте не сидится? Вон, её благодари... Её, сказал!!! Лезь... Доедем.

\* \* \*

В холодном вагоне с разбитым окном, заткнутом грязной подушкой, Порфирий лежал под самым потолком, напротив всё той же старухи, которая, по невыносимой худобе своей, спилась с полкой совершенно и уж не шевелилась, словно не было там никакого человека. Поезд качнулся, дёрнулся, поплыл, набирая ход. Снизу донёсся до Порфирия синтетический запах спиртного. Там бесшабашные мужички разбойного вида глухо чокались жестяными заграничными банками, шили из них и утверждали, матерясь, что они — прорвутся...



Вскоре, после степной маленькой станции, последовала длинная скучная остановка — со сквозняками, топотом, хлопаньем вагонных дверей. Потом видел Порфирий, как внизу появились люди в казённых фуражках, простукивающие вагонный потолок металлическим предметом неведомого назначения. Из-за непорядка в документах они высадили с нижних мест ругающихся мужичков, охмелевших странно, тяжело, и поспешили покинуть грязный вагон, не осмотрев багажных полок.

К полудню, когда поезд уже мчался мимо российских разрушенных каких-то заводов, за столик сели две озябшие армянки без возраста с мальчиком лет тринадцати, хмурившимся по-взрослому и прячущим подбородок в клетчатый новый шарф. Женщины, не снимая курток, сразу заговорили по-своему — о печальном, а перед мальчиком раскрыли книгу, сказав по-русски: — Читай... Учись.

Мальчику читать не хотелось — он медлил, держа книгу на коленях, и пытался разглядеть получше сначала — заброшенное убогое село с пустыми глазницами окон, затем — долгое поле в бурьяне, бесконечные кирпичные корпуса, бегущие за окном, похожие на покинутые казармы, и снова — поле, бескрайнее, пустое. Подушка, торчащая в окне, мешала ему видеть всё кряду, закрывая часть пасмурного неба, и он вытягивал шею, щурясь от сосредоточенности.

\* \* \*

Армянки за вагонным столом всё говорили о чём-то, непонятном для прочих, сокрушённо покачивая головами. И лишь изредка одна из них спрашивала другую по-русски, оглядываясь на мальчика:

— Разве было такое раньше в нашем народе?

— Не было никогда! — следовал удручённый ответ. — А как она могла накормить детей? Он денег не присылал три года. Разве она теперь перед ним виновата?

— Не виновата!.. Ей что — похоронить их лучше? Да?

— Похоронить — это хуже!.. Пускай думают, как хотят. Она права.

— Никогда не было такого в Спитаке...

— Не было в горах...

Притихнув, женщины достали из сумки пакеты с едой. И Порфирий отвернулся к стенке, пахнувшей гарью. Он даже задремал под перестук колёс, как вдруг услышал старухино виноватое:

— Нет, живая... Не бойтесь!.. Я живая! Извините меня.

Мальчик спросил о чём-то женщин — громко, растерянно. Те шикнули на него разом. А старуха на своей полке под вагонным потолком прошелестела оттаявшим голосом:

— Счастье какое. Спаси Христос... Теперь доеду. Сытая... Вот, не помру теперь! Хорошо доеду...

И кто-то снизу, потрогав Порфирия за плечо, положил рядом с ним кусок сыра, завернутый в лепёшку. Он повернулся на тёплый сытный запах, протирая глаза. Но обе армянки уже отчитывали мальчика — сердито, наперебой, поправляя на нём новую кепку, новый шарф, поношенный воротник старого, тесного пальтеца. И тот, насупившись, стал, наконец, читать себе под нос — с ломким акцентом и с долгими недовольными паузами:

— *Россия, нищая Россия...*

*Мне избы серые твои...*

*Твои мне песни ветро... Ветровы... Ветровые —*

*Как слёзы... первые... любви...*

\* \* \*

К подоконнику Тарасевна подбегала в нерабочие дни особенно часто; наблюдала с бдительным прищуром за тем, что делается на пустыре, перед ба-

раком. Уж не бежит ли опять к Амнистиевичу Корево, вместо того чтобы искать работу чёрную, надёжную?

— Никто тебя не позовёт, патриот, сволочь! Никуда! — говорила она в пустоту. — Когда вышибет нужда все твои мозги, чтобы заткнулся ты со своим ураном? Созидатель ты хренов... Перевели таких в лакеи — значит, как лакеи теперь живите! При торгашах...

И учительский взгляд её не просверливал сквозные дыры в стекле единственно чудом. Торопливо отпивала затем Тарасевна из трёхлитровой банки кислое коричневое пойло, похожее на квас. Переводила всё своё вниманье на чайный гриб, сидящий на дне осклизлым бугром.

— Что? Не права я? — задиристо спрашивала она странный студенистый организм. — Отсечённые мы ото всего. Может, и от жизни. И осталось нам только одно — питаться! Помаленьку да кое-как... А про всё другое думать нечего: поздно — недостижимое оно теперь. Смиряться надо: никто мы... Ой, Галя бедная! Трое на её шее сидят...

Она переводила взгляд на предзимнюю понурую степь, на трубу котельной, на пустые многоэтажки, торчащие в пасмурной дали, возле горно-обогачительного мёртвого комбината: вот и разрушилось всё. И снова смотрела в банку:

— ...Значит, не будет больше справедливости на земле, так?.. Что молчишь, слизняк?

Гриб испускал слабые мельчайшие пузырьки и ждал сахара, тёплой спитой заварки и темноты.

— Вот и нам судьба теперь оставлена такая же! — накрывала она банку траурной большой тряпицей. — Сиди! Кисни! Как мы. Как и мы все...

Но будить гриб ночами Тарасевна не решалась: отдыхает пускай примитивная форма жизни; всё же наработалась она, в отличие от некоторых, высококоразвитых, и дешёвое коричневое пойло — произвела...

Правда, однажды, забыв накрыть банку тряпицей, долго, беспричинно и скучно плакала старая Тарасевна у подоконника, стоя над грибом так же, пока не спохватилась: много слёз её накапало в коричневую сладковатую муть! Только от того не стала она солёной. А гриб принялся разрастаться неудержимо, как от хорошей подкормки...

Однако в мятежную эту ночь, может, и он не спал? Поджался, перепугался, поди, спросонья, ком безглазый, когда слышался многим во тьме и стук, и грохот, и трясущийся непрерывный вой. Но сон людской был тяжёл, а там и стихло всё. Лишь злое дыханье зимы, проникая в жилища сквозь малейшие щели, уже сковало наледьё стёкла по самому низу. Оно пощупывало банку исподволь и холодило.

\* \* \*

В комнате у Тарасевны далеко за полночь стало как-то особенно знобко. Снег выпал, должно быть. Приподнявшись на локте, всматривается она в полосу окна, поверх ситцевых шторок — и не видит крыши старого ветхого сарая, что стоял напротив. С ума Тарасевна сошла — или точно: исчез сарай?

Обеспокоившись, опускает она из-под одеяла ноги в длинных шерстяных носках, отодвигает, дотянувшись, короткую занавеску. Кругом лежит, мерцает колючий снег, будто синяя тусклая соль. И чернеют вразброс — там и сям — обрывки рубероида, переломанные жерди, доски: всё, что осталось после ночной бури от ветхого строения с плоской дырявою крышей.

— Сарай снесло, гляди-ка, — дивится Тарасевна, пряча ноги под одеяло и поёживаясь. — Сколько лет стоял... То-то всё трещало от ветра и билось за окном, ровно кто скалками по бараку стучал... Как же это?..

Она вдруг зашмыгала жалобно носом и прослезилась даже в подушку — оттого, что птичьим семьям, утерявшим путь, уж больше не вывести голубят и здесь, во временном, каком-никаком, а пристанище, хоть и дырявом.

— ...Голубь, “русская птица”, хорошая птица, — толковал, помнится, новым соседям Жорес. — Только, сбившись с пути, совсем теряет она голо-

ву; расклёвывает — своих... Нигде врага не определяет. Коршуну, который его из леса выгнал, покоряется, поэтому своих потом бьёт, маленьких, да...

— Это какую же напраслину возводишь ты на нас?! — вскричала тогда разгневанная Тарасевна, ничего толком не поняв, однако спохватилась: — ...Из дальновидности — бывает, конечно, делаем так: своего, хорошего, придавим. А чужого, плохонького зато в передний угол посадим! Но вы все к нам потому и льнёте! А не мы к вам... Так стали мы великий народ, для вашего же блага! Потому что для своего блага — не жили мы никогда!..

И ещё много чего наговорила она растерявшемуся старику в запале, забирая общий, коридорный, половик на стирку. А теперь вдруг мир неожиданно потемнел, заискрил, вывернулся, словно синтетическая чёрная шуба, наизнанку, и вот Тарасевна сама заискивает, ищет милости, льнёт к тем, кто вчера ещё льнул к её народу...

Нет, не так надо было отвечать старику, всхлипывала теперь Тарасевна от беспомощности, выбросив руки поверх одеяла: та самая “русская птица” становится уродом, когда перестаёт быть русской!..

— Вот на что мы сбились: на нерусский путь... Выправились было на русский и сбились опять. В который раз...

\* \* \*

Она ведь и у депутата, принёсшего ей пакет с передниками, выпытывала про то. Спрашивала бывшего двоечника не сразу, а с постепенным учительским вкрадчивым подходом:

— Проходи. Чем занимаешься? Рассказывай, Торгай.

— Труд пишу, работаю немножко, — скромно присел он на табурет в её комнате, поправляя дорогой галстук. — Шпенглер-менглер, Макиавелли... Английский чуть-чуть выучил, немецкий не знаю пока, итальянский — плохо идёт совсем. Так, занимаемся. Потихоньку... Мандрагора-бандрагора нам не надо. Про государство — пойдёт. Пригодится. Со временем.

Опешила Тарасевна: про что это он? И, обескураженная, сказала бодрым неуверенным голосом:

— Вот видишь? Не зря я тебя в третьем классе ругала, шпыняла, покоя тебе не дала. Послушал ты старших в конце концов — и добился успеха в жизни!

— Ваш успех тоже не плохой, — кивнул депутат, окидывая уклоняющимся взглядом бедную клеёнку на шатком столе, полку со старыми советскими учебниками и чайный гриб, разрастающийся под чёрной тряпкой на дне трёхлитровой банки. — Да, учили нас. Любить надо. Землю, свой народ... Правильно.

“Так я же весь советский народ учила вас любить! Весь!” — чуть было не разгневалась опять Тарасевна по давней учительской привычке. Однако сдвинула чепец на затылок — и спросила про другое севшим от волнения голосом:

— ...Говорят, голубь по-вашему — “русская птица” называется?

— Называется. Конечно, — смутившись, тот положил руки на кухонный стол, будто на школьную парту.

— А отчего так?

— Не знаю... Разное старики говорят, — припоминал депутат, отодвигая в сторону свой пакет, принесённый старой учительнице в подарок. — За то, что серая, наверно. “Серый цвет” мы не говорим — “русский цвет” говорим. Среди своих ваш народ ярких не терпит, умных не любит! Уничтожает потихоньку. Из ревности? Зависти? Не знаю... Чужих только хвалит сильно, на колени перед ними встаёт. Нужных-ненужных, честных-нечестных, всяких сорных — без разбора на свой верх пропускает... У нас говорят, природа ваша такая: серого неба много, природные цветы — мелкие все, зато много их. Люди у вас тоже такие должны быть. Мелкие. Тусклые... Сам я, конечно, не знаю, от стариков слышал немножко...

— Ты что городишь?! — всплеснула тогда руками Тарасевна. — А де-

ревья у нас какие? Дубы, кедры? Забыл? Могучие они. Такая наша природа! Запомни! И старикам своим скажи. Чтобы знали.

— А... Вырубают ваши кедры, Сталина Тарасовна. Свои дубы ваш народ не защищает. Не умеет. По земле только стелется. Мелко цветёт, робко цветёт народ ваш.

— Да, мелко цветёт наша трава крапива, — едва не задохнулась от обиды Тарасовна. — Робкие цветы у неё, под листья прячутся. Только гадить в крапиву нашу лучше не садиться, со спущенными-то штанами... Небось когда мы сильные были, вы таких речей не вели. Что же сейчас-то?.. Мы ведь, хоть и падаем, да всё равно встаём. Всякий раз!

— Разбиты вы сильно, Сталина Тарасовна, — вздохнул депутат. — Хозяевами себе никак не станете. Совсем разучились, давно разучились... Вместе — не соберётесь: слабые уже... Мешаете друг другу к успеху пройти, из-за этого сила — ушла. От вас ушла...

И не понимала Тарасовна, чего больше было в ускользающем взгляде его — снисходительности или презрения.

\* \* \*

В полной растерянности стояла она тогда перед депутатом, перебирала сухими пальцами кухонное истёртое полотенце, бормотала потерянно:

— Мы для вас... Мы... И за что? За что вы нас так не любите, Торгай?

Поёжился, помнится, депутат:

— Почему? Всякий тут пускай живёт, кто раньше жил. Вот... сало принёс вам, Сталина Тарасовна. Это из нашей степи, из гиблой, где раньше скот не пасли... Лучшее сало было не здесь — у Иртыша, возле Каркаралинска, около гор, на семипалатинских лугах. Там овцы еле таскали курдюки, тяжёлые курдюки. Теперь те курдюки хуже, чем даже здешние, на гиблом месте... Нашу землю сверлить, взрывать, пахать — не надо. Народ, который строит у нас полигоны, мы не любим. Пусть наша земля цветёт без железа, падающего с неба.

— Ну и чего? Чего вы добились? — разволновалась Тарасовна до звона в ушах. — Один народ с полигона ушёл, другой народ его занял. Какая вам разница? Да и не только ваша земля это была. Наша она считалась! А вы, вы как ею распорядились?! Теперь — кто по ней ходит, какой хозяин?

— А! Янки? — усмехнулась депутат. — ...И с ними справимся. Постепенно... Сами мощь наберём, тогда без чужих обойдёмся. Скоро.

— Всё равно зависеть будете! — упрямилась Тарасовна, топя стоптаным башмаком. — Умные какие нашлись... В одной стране — брать что-то надо и отдавать, другой — что-то отдавать и брать. Весь мир так живёт. Перетекает.

— Э-э! Э-э... Наша речка Торгай из ниоткуда течёт в никуда. Выходит из степи, пропадает в степи. Из моря не вытекает, в океан не впадает... Бывает так, Сталина Тарасовна. Если в природе бывает, и в политике так бывает...

\* \* \*

Уже не замечал, похоже, бывший ученик Тарасовну — с её комнатой, шторками, чайным грибом, а видел и слышал что-то своё.

— ...Мировой океан пусть живёт, как хочет, — смотрел депутат в прошлое, как смотрят в будущее. — Смывает пусть океан другие народы. Мы не против. А речке Торгай он не нужен. Наша природа — другая. Из ниоткуда мы идём — по земле, в никуда уходим — с земли. Нам океана мирового не надо... Кому много отовсюду надо, тот всё потеряет: себя потеряет совсем... А мы — другие: мы будем жить.

— Погоди! — остановила Тарасовна его, отвернувшегося и уже направляющегося к двери. — Ты по службе все законы читаешь! А моему зятю на-

до к своим ехать, по специальности там работать. Вот скажи, когда Россия нас вызволит, чтобы мы здесь глаза вам не мозолили? Или навсегда она в стенах нас бросила?.. Может, уже программа такая в России для нас есть, а мы тут сидим?

Потоптался депутат возле двери, стяхнул что-то с лацкана добротного пиджака, поправил значок. Совсем нехотя заговорил, скучно, устало:

— Ваши кедры на одном месте стоят. Шумят только, пока их не спилят. А сорный бурьян, политический, леса высокого боится, зато на просеках растёт хорошо, быстро, среди мёртвых пеньков. Бурьяну для своей политики большие просеки нужны... Будет программа, конечно, со временем, — увёл он взгляд в сторону. — Вот ещё ваш народ поумирает немного... Когда сил на переезд не останется совсем, тогда программа будет. Не раньше... Черту оседлости только устроят вам, наверно, приедем русским. В столицу не пустят, конечно...

Тарасевна кособочилась виновато, перетаптывалась от беспокойства, но молчала.

— В труху сначала дубы ваши перемелют, потом расти им разрешат, — говорил депутат, удерживаясь от зевоты и потирая глаза, красные от непомерного чтения. — Второй сорт вы опять. В революцию были — второй сорт, сейчас — тоже... Зачем ехать, Сталина Тарасовна? Риск там большой, обмана много, повсеместно. Верить программам разве можно?.. Там второй сорт, здесь второй сорт: какая вам разница?.. Тут я помогу когда-когда. Там никто не поможет... Ваш народ в чудо верит! Не видит совсем: деньги съели его — ваше чудо, съели давно... Не получится больше чуда, Сталина Тарасовна! Живите здесь. Спокойно. Я этим, всем, сказал. Не тронет вас никто... Наша власть будет не плохая. Со временем, конечно...

И оробела Тарасевна: вот тебе и балбес... Она его, двоечника, ругая не престанно, в четвёрочки вытянуть мечтала. Воспитывала, будто котёнка — беззащитного, безответного, — носом в миску с молоком тыкала, тыкала: учись пить знания, усваивать... И вот — вырос. И страх берёт: пришло в мир то, чего не ждали. К худу пришло? К добру?..

\* \* \*

Проводив депутата, вернулась Тарасевна в свою комнату, попробовала успокоиться, налив из банки в стакан кислого чаю.

— Сахара ждёшь? — спросила она гриб, слабо шевельнувшийся на дне. — Бугор безмозглый. Много не получишь, вот щепотка тебе. Подсластись, кислятина... Довольный стал? Перерабатывай свою радость.

И накрыла она банку снова чёрной тряпичей. Однако чай грибной не глотался. И Тарасевна перетаптывалась в смущении.

Побежать к Нюрочке ей захотелось тогда сразу, да вот незадача: Иван был дома, а у себя не находила она места...

— Там наши тоже, небось, кислый такой чаёк пьют, — рассеянно сказала она, думая про Россию. — Из экономии... Ох-хо-хо.

И в круглое зеркало глянула на себя Тарасевна без удовольствия — была её порода худая да мосластая, веками труда иного не знавшая, как только сеять-жать, навоз по полю раскидывать, за барскими лошадьми ходить — и помалкивать: “чего изволите?” Но вот явилась в огне усадеб, во всеобщей обильной крови, воссияла та страшная власть, которая вознесла Тарасевну на немислимую учительскую высоту. И уж Галя её росла белёхонькой, детисек своих родившая для умных трудов. Ан лопнуло всё: катись, порода, туда, откуда вылезла — ко ржаному хлебу да кислому квасу, да к поклонам низким: “чего изволите?” Только кланяться теперь придётся перед инородцами — и внукам-правнукам, и праправнукам: дожили, ножки съели. А может, и до рабства им — один шагок...

Нырнуть бы сейчас Коревке в чёрный труд, как сама Тарасевна это сделала без трепета и страха, и на своих плечах поднять внучек повыше — расти, породушка, дальше, развивайся, иди на верха российские, приноси поль-

зу всеобщую, не подневольную!.. Но он, Коревко, только топыриться горазд, неуправляемый, бесполезным знанием загруженный. И другой выход нужен всем, всем. А какой?!

С расстройства кинула Тарасевна зеркало на фанерную тумбочку, вниз собственным своим отраженьем, отправилась всё же к молодым соседям, только завязала тесёмки ватного шлема потуже и фартук из шкафа выхватила торопливо — новёхонький. Он оказался, по нечаянности, с восклицательным знаком — бархатным не бархатным, а на красный плюш, которым покрывали столы в сельсовете, слегка похожим. И хоть не торжественный, не праздничный то был день, да ладно: нарядилась — и двинулась, решительно погладив себя по животу.

\* \* \*

Молодые сидели за столом, заваленным цветною бумагой, словыми лапами, металлическими веночными каркасами. Нюрочка кивнула Тарасевне, указав на свободный стул, но работы своей не прервала, кромсая портняжными ножницами край бумажной многослойной полоски. И Тарасевна, конечно, не села, а встала за её спиной, поглядывая, как из-под Нюрочкиных рук выползает на клеёнку нарядная белая бахрома. Иван же закреплял на металлическом круге тонкую длинную проволоку, пропуская её восьмёрками и прикручивая снова.

— Слыхали? Через стенку? Чего он говорил? Депутат наш? — вежливо спросила Тарасевна, отодвинув от себя большую катушку чёрных ниток подальше. — А на улице он мне что сказал? “Ваши немецкие цари большого народа боялись, новые цари тоже бояться. Морят его ваши правители, белые — красные, чтобы послушный он был — от слабости, от нужды; чтобы численностью — меньше был. Трусливые правители — кровавые, опасные. Зачем таких над собой ставите?”

— Это всем давно известно, — усмехнулся Иван, постукивая кусачками. — Наши деды знали, мы знаем... А толку что?

— Скоро всё по-другому будет, — кивнула ему Нюрочка деловито.

И он ответил ей, отвлекаясь от своего занятия:

— Ручки у ножниц надо изолентой обмотать, чтобы пальцы они не тирали.

— Мне так лучше, — покачала Нюрочка головою, принимаясь за другую полоску. — Ничего. Не сильно.

— Много слоёв не складывай, туго идёт.

— Ничего, — снова ответила она Ивану.

\* \* \*

Бахрому, свёрнутую в неживой кудрявый цветок, Нюрочка усадила на словую лапу и отошла к детской коляске.

— А я точно знаю, из-за чего мы теперь миллионами помираем! — сообщила Тарасевна тем самым специальным голосом — для политинформаций: когда слова падают, будто блестящие аптечные гирьки на чашки весов. — Знаю! Всё — из-за таких, как я! Чужих вождей мы выучили, а своего-то вождя, заступника своего, не догадались взрастить! Народного, нашего. Настоящего... Как нам вернуть себе родину? Без вождя такого? А?.. Давайте, розу вам сделаю! Пышную. Я умею!

Иван словно не слышал и на яркий восклицательный знак передника внимания не обращал. Он разматывал старую трансформаторную катушку. Подумав, Тарасевна подхватила с клеёнки бумажную бахрому и принялась отыскивать подходящие нитки среди цветного вороха.

— Великий свой, свой вождь нужен, — упрямо повторила она. — Не подготовили! Великого. А почему?.. Мы, мы, все учителя, сами себе должны за это поставить двойки!

— Крошечный, — не слушая Тарасевну, говорила Нюрочка и улыбалась младенцу. — Маленький...

— Нюра! Слышишь, чего говорю? — не могла успокоиться Тарасевна с красным распадающимся цветком в руке. — Миллионами ведь умираем!

— Нет, — легко отмахнулась Нюрочка. — Не успеют нас доморить. Уже не успеют... Да, Саня?

— ...Кого — нас-то? — не поняла старуха. — Ты про кого?

— Нас. Недобитков, — пожав плечами, вернулась Нюрочка к столу.

Тарасевна ощупала языком уцелевший тоскующий зуб с изболевшим до бесчувствия корнем. Про что разговор? Туманный какой-то...

\* \* \*

Сидят молодые в одинаковых чёрных суконных душегрейках. Переглядываются коротко, думают о чём-то общем, отдельно от старухи. И новый цветок у Тарасевны не свился, а рассыпался. Нет, не шла барачная политинформация! Не складывалась — и всё тут...

— Лучше давай проволоку мне! — сказала Тарасевна Ивану решительно. — Помогу... Я много лет с проволокой работала! У меня один атом на орбите никак не держался. Я привыкла — прикручивать. Он отваливается, а я его — на место! На место!

— Вы же без очков, — глянул на неё Иван искоса.

— Ох! У дочери с зятем так разругалась, что забыла там глаза свои, — огорчилась Тарасевна.

И вдруг до боли в ушах стало ей обидно, что никто толком с нею не разговаривает. Она, старуха, к молодым, ко всем — с добром, с помощью! А не встречает привета — ни у дочери, ни тут.

— ...Нет меж нами родства никакого, — заморгала Тарасевна, подёргивая тесёмки ватного своего плема-чепца. — Меж своими — нет пониманья... Значит, помирать мне пора, вот что!.. Всех людей, поровну, правильной жизни я учила. А теперь сама в отстающие попала! Пережиток прошлого я стала!.. Всё. Хватит. Нечего больше ждать мне. Помирать буду!

Нюрочка настроила новую бумажную бахрому, длинную, белую, склонив голову набок от большого усердия, а Иван пробовал металлический круг на прочность, растягивая и потряхивая его.

— ...Вон тот, рыжий, на мою могилку положишь, Нюра! — обвела Тарасевна прицельным, щупающим взглядом венки, висящие по стенам. — Хорошие, которые с лазоревыми цветками, не надо. И тот, где листья манкой присыпаны, на клею, не трогай. Их продать можно получше... А вот рыжий висит, заваливающий, косматый, как раз мне, наверно, будет. В подарок последний!

\* \* \*

Молодые молчали за свою работой. И горка мёртвых цветов — белых и красных — росла меж ними.

— Что-то хвоя здесь цвет потеряла. Как от хлорки, — принялась тогда Тарасевна изучать выбранный венок на стене с повышенной старательностью, потирая виски. — Или карболкой от веток тянет? Не пойму. Пенициллином... Старый венок, выгорел, никуда не годный, по-моему... И хорошо! Его мне положишь, Нюра. Такое завещанье моё будет. Кольцо оловянное с меня не снимайте, наплевать, вросло оно... А из физического кабинета пускай Галина принесёт мою молекулу сломанную. Структурную решётку мою. Она ещё советская, старая. Всё равно никому не нужна теперь, а я с ней свыклась... И атом пусть захватит, который с орбиты слетел. Кто его будет прикручивать каждый раз проволокой, как я? Изо дня в день? Да из года в год?.. Никто! Больше таких людей не осталось на свете. Не будет больше таких дураков, как мы, советские...

Нюрочка только постукивала ножницами, словно Тарасевне, в самом деле, туда и дорога была — в могилу... Словно Тарасевны, с её добросовестным прошлым, уже не существовало!

— Напомни Галине, слышишь?! — прибавила Тарасевна настойчивой громкости учительскому голосу своему, зашняясь от переживания. — В могилу мне её пускай поставят! Молекулу сломанную! Вот и будет всё главное моё добро со мной... Какое для себя нажила... Весь мой сломанный итог!..

И никто не разубеждал Тарасевну, всхлипнувшую внятно, — никто не кинулся к ней, утешая. Только Нюрочка, отодвинув ножницы, опять пошла к ребёнку.

— Т-ш-ш... Не ложися на краю... Ладно? — полусшёпотом напевала она, склоняясь над коляской. — Когда восходит мой цветочек... А-а...

Песенка её была спокойная, терпеливая, Тарасевне не знакомая:

— Когда восходит мой цветочек... Могу смотреть подолгу я... Как пробивается росточек... Из ничего... до бытия... Тш-ш... Когда восходит мой... Да, Саня?

И вглядывалась Нюрочка в сонное лицо младенца, как в будущее:

— Тш-ш-ш... — словно важнее этого не было ничего на земле.

\* \* \*

От всех воспоминаний обидных кажется Тарасевне эта ночь перелома — длиннее века, и печаль — печальней печали: нигде, никому она, старуха, не нужна... И о внучках её заботиться некому... Пилит зятя Коревку Тарасевна, отсылает в Россию — вдруг хорошо устроится, хоть один: бывают же на свете чудеса. А депутат говорит: нет, не бывают они — там, где силы не собраны воедино... Что, проволокой, что ли, их приматывать каждый раз, эти силы, к нужной-то орбите?

— Рассыплются, видно, народы один за другим, — ворчит она, глядя из душевной темноты в темноту барачную. — Рассыплются... Если с одним народом такое произошло, следом со всеми случится то же самое...

Зря надеется депутат: потеряют себя и остальные, разбредутся, как стадо бездомных коров, заблудившихся во тьме. Вот и будет это конец света...

А может, он уже наступил?! Душно Тарасевне, плохо, не может она больше лежать — оттого, что страшна её догадка; будто утро не настанет никогда. Тычется она без света, шарит по столу, отыскивая пузырёк корвалола: не помереть бы дома. Надо — чтоб на производстве. Утром — можно, а сейчас — нет. Но под руку Тарасевне попадает лишь надтреснутое гнёздышко валидола, из которого с большим неудовольствием вылуцивает она, словно пуговицу, мало помогающую крупную таблетку.

Что с душой её будет после смертного часа, до того ли Тарасевне? Только бы не ввести в лишние траты близких своих, а там уж — пусть... Плотное небо вынужденного греха нависло над всеми. И тьма эта — смерть душ... Да что с той души, в которой — затхлый страх, промозглая тревога, холодный ужас неизвестности, и всё!..

Не помереть бы попусту. Без материальной помощи на похороны. Не придавить бы нуждой их совсем — внучек махоньких, беззащитных... А душа эта... хлеба не попросит. Ни шапки новой стёганой, ни платья, ни сапог не требует ей, безвидной... Ни у кого потом ничего она не попросит, и то счастье... В аду ли, в раю — тратиться на себя уж не надо будет. Вот — главное. В котле со смолою иной заботы нет, как сидеть только сиднем, по горло в боли, да бездельничать век за веком, корчась, крича, страдая. Зато родным ты уже не в убыток. Только себе самой. Остальные не пострадают зато...

\* \* \*

Жарища там, поди, посасывает Тарасевна холодную таблетку. Пекло в аду. А тут страшная наступает стужа. И темень, темень... А в крепких крас-



ных дворцах начальства, выстроенных в десяти километрах от Столбцов, при отдельной, всегда работающей электростанции, конца света не бывает. Нипочём им пронёсшийся над степью ураган, размотавший было вселенную до предела. Там стены — толсты, зимы — теплы, там голодные годы — плодотворны: там — вечный свет...

Но из барачного мрака Тарасевне виден лишь слабый отблеск на самой кромке чёрной степи. Это млечное пятно подрагивает как раз над банкой с чайным грибом, накрытым траурной старой тряпкой. Щурится Тарасевна, смотрит в сторону красных дворцов.

За толщею холодной тьмы, и там, и сям, среди огромной разрухи утопают в обильном сиянии Гнёзда правителей жизни... Потом, небось, за пачку денег для церковки им вымолят любой, самый распрекрасный, рай, и прощенье всего, всего. А нет, так ещё богатые родственники добавят, накинут сверху доллары свои. Наймут столько наилучших молельщиков, сколько и во сне не приснится никому в холодных, тёмных Столбцах... Тарасевна таких денег, на вечное блаженство, совсем не заработала, ничего не скопила на помин души! Ни копейки... Чего ж ей достанется, кроме чана бесплатной смолы?

Только в окне, над трёхлитровой банкой с разросшимся скользким грибом, спящим под чёрной тряпицей, становится всё больше красного, багрового, тёмного...

\* \* \*

Отшатывается от окна, бродит Тарасевна в исподнем по тёмной комнате и стонет, держась за щёку; темнота в Столбцах — навек! Закончилось всё: не рассветёт здесь никогда!

— Бабуля, бабулечка...

— А? Чего? — вскрикивает Тарасевна и приходит в себя.

— Астма у тебя? — спрашивает Полина с дивана.

— Астма, астма... Спи! Мне полегчало немножко. Валидол под язык кинула — хорошо.

— Правда?

— А разве учителя врут? Мы, учителя, никогда... Гляди, какой мороз ударил. Завтра мне, с бронхами, сторожить на ветрище, на стуже... Вот, встала; как бы гриб на окне не замёрз...

Но там, над грибом, всё разрастается отчего-то красное, багровое, пугающее Тарасевну — то ли это болезнь её расцветает над степью зловещим заревом, то ли страх перед смертью домашней искажает зренье сторожихи, хватающейся за сердце здесь, в бараке, не на производстве...

Но гаснет вмиг красное, багровое, пугающее. И вновь — мрак один за окном. И слышно, как всасывает мёртвая бездна времени секунды, минуты — живые секунды, минуты, судьбы. Всасывает. Мёртвая... А радости небесной — нет нигде, нет. Плотное небо вынужденного греха висит над Столбцами.

— Ты ложишься, бабуля?

— Ложусь... Пускай мёрзнет гриб, — шепчет Тарасевна, сплёвывая обсосанную таблетку в ладонь. — Не подавиться бы валидолом этим. А то начну перхать, как овца, всех будить среди ночи...

— Можно, я шапку свою на банку надену? Для тепла?

— Ещё чего! Со своей головушки светлой — да на эту слизь дикую... Не бывает у него бронхов, у гриба! — укладывается Тарасевна под одеяло. — Он, знай, пухнет... Мы терпим, а он растёт! Мы терпим, а он разбухает!.. Нет, терпи, гриб, и ты... Терпи, как мы, боль — так же, слизник... Сиди, шепоткой сахарка доволен будь, какую тебе кинут! Чайком спитым сладеньким живи... Да, не видать нам больше России, Полина! Не заработали мы на неё... Нам — и ни туда, и ни сюда, из нашей банки, из-под тряпицы этой. И ни влево, и ни вправо, без денег. Спи!

— А лекарство, от которого немножко легче становится, оно горькое?

— Сладкое!.. Не разговаривай.

Где же было ей знать, что именно сейчас посматривает на тёмные подмосковные леса с багажной полки прицепного вагона монах-штатун Порфирий, на днях ещё сидевший у Тарасевны за столом. Она его, как порядочно-го, с улицы зазвала, встретив у котельной. Бутылочку красную открыла и стаканы на белую скатерть выставила:

— Скажи! Голубь — святая птица или нет? По-моему, у вас — так святая она. А наш, советский, он — голубь мира был! Вон там у нас жил, в сарае. Мы его кормили, а он — кто? Ваш — или наш — с пути-то сбился? И семью свою истребил... Объясняй мне! Не понимаю я!

Мельком глянул в окошко Порфирий, без всякого любопытства, ответил рассеянно:

— То был голубь мира сего! Забудь.

— Какого мира?

— Такого... Голубь мира этого, оступившегося, во греховную тьму погружающегося стремительно.

— А жить нам как тогда в нём? По-доброму? Без вреда?.. Чтобы всем, всем уцелеть? Мне правильный рецепт нужен! Верный!

Но, потягивая носом, Порфирий какой-то чёрный клок себе на рясу нашивал, орудовал толстою иглой — и никакого ответа.

— Из тьмы в одиночку выбирают? Или бригадой? Или не выбирают совсем? — допрашивала Порфирия Тарасевна всё строже, настойчивей.

Утёр Порфирий рукавом зябкую прозрачную сопельку, понурился, да и стал наливать вино в стакан Тарасевны. И вот глядит она на тонкую алую струйку, глядит. До половины красен стакан, а там и на три четверти багров, вот уж совсем он полон и чёрен стал почти. Молчит Порфирий и своего занятия не прерывает. Молчит и Тарасевна, опешив от происходящего. Через край льётся дешёвое терпкое вино, на свежую скатёрку её, выстиранную с хозяйственным мылом и прокипячённую в старой кастрюльке до полной, ослепительной белизны, а бродяжка всё льёт!..

Вскочила наконец Тарасевна, вскричала, как ужаленная, после времени, глядя на огромное красное сырое пятнище:

— Да что ж ты всю бутылку извёл? Что ты скатерть мне испортил, изгваздал всю, негодник! Я тебя для дела звала! Для разговора важного! А ты что, дурак?! До седых волос дожил, а ума не нажил. Хулиган ты, а не поп! Хулиган какой-то...

— Прости, матушка, — поднялся и Порфирий. — Кто я есть без смирения? Истину говоришь: хулиган — голова садовая... Прости.

— Стой! Жить народу — как?! Наозоровал, а сам... Не сказал ведь ничего!

Замешкался Порфирий:

— Откуда я знаю? Меру во всём постичь сумеешь, вот сама всех и научишь, как жить. Только уразумеешь смысл слова: “хватит”, и сразу совет тебе не понадобится чужих, моих же — тем более. Зря, что ли, меня пристойные люди от себя прогоняют? Нет, не зря... Сказали: пока смирения не обрету, чтоб к умным не совался. И вот который десяток лет я его выпестовываю, а не даётся мне оно, грешному. Был хулиган — хулиган остался. Вон как скатёрку твою испачкал! Прости... Слово “хватит” запомнила, нет? Или ещё вот слово есть. Не слабей оно этого: “довольно”. Сумеешь ли распознать, когда надо его произнести? Когда пора настала? Главная то премудрость... А чей же ребёночек там захныкал? Соседский, что ли?

— Ну! За стенкой проснулся... Обещалась за ним приглядеть, пока мать в магазин сбегает, да вот с тобой, долгогривым балаболом, тут разговоры пустые веду. И зачем я тебя в окошко увидала? Нет, сколько вина зря извёл! Я его для зятя берегла, когда исправится он. При домовой тяжёлой работе была бы ему здесь утешительная рюмочка... Эх, ты! Хулиган...

Убежала Тарасевна к ребёнку, принялась качать детскую коляску. Только Саня плакал всё пуще.

— А дай-ка ты его мне на руки, воина Христова, — стоит уж рядом с Тарасевной Порфирий в пыльной своей поддёвке, холодно пахнущей ветром, волей, полынным горьким семенем... Полынным ветром, холодной волей, горьким семенем...

— Ещё чего!

И оглянуться она не успела, как подхватил бродяга дитя малое, стал покачивать, по комнате с ним расхаживать. Насторожилась Тарасевна, вслушиваясь: что это он ребёнку смолкшему бормочет? Да не поняла она толком ничего, а часть слов и вовсе не расслышала.

— ...Хотя достойно совершити подвиг, возложенный на тя... Облекая еси во вся оружия... стал на брань противу миродержателей века сего... препоясав чресла своя истиною и облекшись в броню правды...

— погоди! — забеспокоилась Тарасевна, принимая младенца от Порфирия. — Ты чем его успокоил?

— Прочитал, что на ум пришло. Он и притих. Песен-басен положенных колыбельных совсем я не знаю, не исполняю их. Горюпись, прости...

— А матери его что мне сказать?

— Скажи только: воин — здесь пребывает, а Спаситель — там, над нами. Быстрой дорогой воин к Нему идёт, суровой дорогой... Или ничего не говори. И без меня всему научены будут, в положенный-то срок. Что я? Пыль на ветру, да... Ходячий прах... Ничего не говори!

— И правильно, — укрывала Тарасевна младенца с заботою. — А то ещё ругаться она станет. Схватил чистого ребёнка чужого, бродяга ты мотуший... Тут ведь и за попа-то настоящего тебя не считают...

— Так и есть. Мних есмь, мних презренный шаталкина монастыря...

Раскачивается спящий вагон, задувает в окно тёмный ветер с мокрым запахом дубовой коры. Стучат колёса: дух, дух. Дух, дух... Волнуется Порфирий, не спит. Совсем близок он к цели, да только примет ли его, бродяжку, обитель святая?.. Его, смирения не обретшего, мудрости не набравшегося, модельщика никудышного...

Осталось через пару часов на вокзале сойти, в электричку сесть. А там и купола золочёные, древние просияют ему, неразумному шатуну из далёких Столбцов. Скоро уж. Скоро рассветёт...

Из-за резкого холода, полонившего тёмные Столбцы этой ночью, в камере предварительного заключения все топчаны были свободными — ни пьяных, ни буйных, ни порезанных, ни увечных: мирная тишина, скучная темень. Только с поста дежурных милиционеров падала полоска тусклого света от китайского керосинового фонаря, стоящего на столе, и доносилось негромкое бормотанье одного из них, разгадывающего кроссворд, да слабый храп другого. Но уставшему Ивану, укрывшемуся синтетической шубой “из чебурашки”, всё не спалось, хотя и ночь уж была на исходе. Одно и то же виденье открывалось перед ним, от которого он сразу приходил в себя. Было оно словно не из его жизни, со смыслами отвлечёнными, сокрытыми в глубине сна и не подвластными рассудку человека совершенно. От них, смыслов тревожных, путающих, начинала трещать черепная коробка — будто скорлупа ореха, в которую надлежало вместить океанические водные глубины...

Боясь одной и той же странной картины, он мотал головой, потирал лицо руками и старался сбить дрему напрочь размышлениями обыденными и простыми. Не о Нюорочке, оставшейся в ночи без его пригляда, хотелось ему думать, нет: от этого тоскливая тревога подбиралась к самому сердечному узлу и подпиливала его у основания — если не рашпилем, то надфилем как минимум. А всё, от чего недоучившийся автомеханик Иван Бирюков мог ос-

лабеть здоровьем, ему не годилось — в том не было толка ни для кого. И он лишь вздыхал и ворочался, уводя своё внимание к тому, что находилось поблизости.

Вот топчаны в камере совсем короткие. Привинченные к полу, они отстояли далеко друг от друга — так, что сдвинуть их для удобства никак бы не получилось. И ноги приходилось держать поджатыми к животу, либо свешивать их ненадолго к дощатому холодному полу...

Надо было надеть толстые вязаные носки. Но кто же знал, что эта ночь — ночь перелома на страшный мороз, и что именно теперь в Столбцах отключится и свет, и тепло.

\* \* \*

...Самым лучшим из обыденного было то, что задержанный с водкою Иван Бирюков хорошо знал повадки здешних бандитов. Он уже дважды за позднюю осень легко обошёл их, подкарауливавших его под глиняным козырьком оврага. Некурящему и непьющему, ему просто было уловить плывущий над степью по ветру пряный запах анаши либо сигарет и загодя сделать крюк, оставаясь незамеченным на огромном пространстве пустыря. Скоро он обучит Саню ощущать любую опасность издали, с чуткостью, превышающей волчью...

И даже если, приглядевшись, прислушавшись, принюхавшись, не обнаруживал Иван Бирюков никакой опасности, то и тогда, с тяжёлыми сумками, в которых предательски позвякивали бутылки с водкой, выбирал он всякий раз путь новый, не повторяясь.

В своих походах к Панне Ионовне, забиравшей поклажу лишь в конце дня, Бирюков был осторожен особенно. Лишь от барака он шёл открыто, а дальше двигался, слегка пригибаясь, по незначительным вымоинам от пересохших весенних протоков и ручейков, пробирался неслышно за жидкой грядой кустарника, мимо троп и дорожек, следя за тем, чтобы длинная вечерняя тень его не вылезала на открытые места...

Подрастая, Саня научится так же проходить невидимым для чужих глаз там, где, казалось бы, трудно остаться незамеченным даже бурому мелкому степному лису, выскочившему из бурых спасительных зарослей, чтобы перебежать через пустырь.

\* \* \*

По-настоящему опасны бывали только вечера. Под покровом же ночи раствориться в степном знакомом пространстве чуткому человеку проще простого. Благословенна тёмная ночь, укрывающая преследуемого заботливее любящей сестры...

Утром бандиты спят поголовно. А днём Ивана Бирюкова пока ещё никто не выслеживал, хотя скоро стоило ожидать и этого. К тому же выпавший этой ночью снег не позволит скрыть своих следов уже никому. Но свинцовый шипованный кастет, выточенный в мастерской техникума точно по руке, был у него за подкладкой верхней одежды всегда. А милиция отбирала только водку, не обыскивая его вовсе, как человека смиренного и покладистого.

...Смирным и покладистым с виду, его Саня пройдёт к своей цели без лишнего шума, не теряя драгоценного времени и сил на разные стычки, которые стопорят продвижение любого другого человека — часто, бессмысленно, надолго.

Век родившегося в Столбцах, вблизи озёр — изумрудных, жёлтых, малиновых, — короче обычного. Но... лишь глупая рыба тычется попусту в прибрежную тину, обнаруживает себя игривым всплеском воды и очаровывается сиянием блесны. Умная ускользает в глубокие воды — быстрая, неуловимая, бесшумная, как тень, мимо расставленных сетей. И только у неё бывают самые острые зубы... Он научит Саню носить за подкладкой кастет с шипами — незаметно.

Прячет теперь усмешку Иван Бирюков в чёрный воротник. Каждый прожитый день, принёсший выручку, он засчитывает себе как хорошую победу: его ребёнок, его жена, его родители получили возможность быть обеспеченными неделю, другую. И день без выручки — тоже его победа, коли удалось уцелеть. Значит, заработает что-нибудь завтра и послезавтра. А бандитская судьба — самая короткая из всех: кто кого переживёт в этом мире, большой вопрос.

Но всё же дома он положил на видное для Нюрочки место тяжёлый стальной шар, ничего особенного ей не говоря. Она носит теперь его, оттягивающий карман, в своём халате, а он делает вид, что не знает этого: пусть так. Просто говорит, словно невзначай, как о чём-то постороннем: “Если пугают, значит, не убьют. Верное дело... Когда убивают, тогда уже не пугают...”

— Эй, задержанный! “Холодное оружие” из шести букв? Не спишь? — прохаживается мимо решётки, разминается тень милиционера в служебном ватнике. — “Кинжал” не подходит. “Клинок” тоже... А первая “кэ”. Последняя... “тэ”, кажется.

— “Тэ”?.. Нет, — прикрывает ухмылку синтетическим чёрным воротником задержанный Бирюков. — Не знаю такого оружия. Не встречал.

— Вечно ты ничего не знаешь, — зевает милиционер. — Хорошее дежурство, слушай! Все по норам сидят. Забились, как сурки. Обмерли: холодрыга! Всеобщий анабиоз. Поголовный... Хочешь, объясню, что это такое?

— Не-е... Обойдусь.

— Правильно. Всё равно не поймёшь... Такой анабиоз крутом, что даже скучно!.. На улице дурдом: где земля, где небо? Неизвестно... Слушай! Может, тебе стул закинуть сюда? Под ноги? Всё равно до утра никого больше не будет.

— И так сойдёт.

— Грамм пейсят дёрнешь? Для тепла?

— Не пью.

Милиционер, сдвинув шапку на лоб, озадаченно чешет затылок:

— ...Ну, а мясо ты ещё ешь?

— Когда как.

— Ладно, спи. Трезвенник. А то выпил бы! С твоей водки у нас пока никто не отравился. Ни разу!.. Да, никогда не бывает того, что не бывает никогда!.. Спи.

— Сплю.

На посту слышно сдержанное, краткое водочное журчанье. Запах спиртного, конфискованного из его сумки, доносится до задержанного Бирюкова в тот миг. И сон тяжелит веки... Ликует весенняя утренняя степь. Сияет свет нездешний, разливается от края и до края — тёпло-розовый, ровный, радостный. И Нюрочка, сторбившись, едет на тряском осле задом наперёд — лицом к крупу... Поджавшись покорно, беспомощно, обречённо... Едет, в рваных синих резиновых сапогах, в широком платье из тусклого синего сатина, упираясь в ослиную спину ладонями...

— Чего на тебя дело-то никогда не заводят, а, Бирюков? — не спится милиционеру, и он спрашивает пустое, прохаживаясь вдоль решётки в полутьме, пахнущей керосином. — Или ты волшебное слово знаешь, или у тебя ещё что-то хорошо работает? Типа головы, а может — полушария?

— Угу.

— Тут, слушай, теплее. А у нас вьюга раму трясёт, — поёживается милиционер. — Да, ветер нравится, когда он дует в твой паруса! Но ветер летит, куда хочет!.. Хорошо тебе здесь: никаких окошек нет... На Россию копшишь, Бирюков? На переезд водярой торгуешь?

— Как получится.

— А что, греха не боишься?  
— Своих сберегу — простится мне всё. Не сберегу — ничего не простится.

— Ну, ты загнул! — поразился милиционер. — Откуда знаешь?

— Так... Знаю.

— ...И что, много скопил?

— Пока ничего.

— И я — ничего. Зарплату по три месяца не выдают! А дежурства — сплошь... Тут и взятку не возьмёшь: чужбина... Вот на ширеве заработать себе России можно — легко! Быстро. Если торговать аккуратно. Но нужен фарт! А то навеешь, ёлки, человечеству сон золотой, героинном или чернушкой, а сам в ящик сыграешь... В прошлом году один цыган так наваял гус-то, что рояль старинный себе купил! Понял?.. Правда, он в дверь не влез. До сих пор у него на огороде стоит, рояль. А самого цыгана уже убили. И коронки золотые плоскогубцами повыврывали. Местные... Табор там чего-то Рыжему Рубину недодал...

Но уже не слышит Иван Бирюков милиционера. Тяжелеют, сами собою смыкаются его веки. И Нюрочкино растерянное лицо снова перед ним...

Сидеть на жёстком хребте ей неловко, неудобно, шатко. Но слезть Нюрочке с осла уж нельзя — до самого последнего рокового мига, который намечен там, за весенней степью, совсем нездешней... А шерсть деловито бегущего животного так чиста, что видно в ликующем весеннем свете каждый волосок — белёсый, желтоватый, красноватый, серый... Неуклонно, неостановимо бежит осёл мелкой деловитой трусцою, неизбежным путём...

\* \* \*

— Здоров ты дрыхнуть, задержанный! Как я погляжу...

— Не жалуюсь, — приподнимается Иван Бирюков на топчане и садится.

— Начальник спит, задержанный спит... А у меня в Германию лучший школьный друг уехал, между прочим! В качестве сына репрессированных, — громко зевает милиционер, прохаживаясь. — Он один из всего класса пламя изо рта выпускать умел. Дунет на перемене — и учителя врассыпную... Перед отъездом комбайнером в Пригородном совхозе работал. Вкалывал, как бешеный. Ручищи чёрные были до локтей, даже со стиральным порошком не отмывались. И пальцы — в трещинах, от земли. Он их солидолом залечивал. Но не помогало!.. Ну вот, а теперь звонит. Белыми руками. Кричит, бедолага, из города Нойенхагена: “Рассольцев! Я здесь — как в плену. Кругом — немцы!!!” Представляешь?

— А что? Сам не немец? — бормочет Иван спросонья.

— Немец, только русский. Рудольф, блин, а языка не знает... Дом на Западе получил — с коврами, с машиной. Но... сплошная кругом Европа! Там радости — нет: одни удовольствия... “Мальборо” курит, перед коньяком сидит, в трубку орёт: “И на хера я сюда приехал?!” ..Назад, в Пригородный, хочет: “Пуускай в нужде, но — дома!” А я говорю: “Не едь. Там тоскуй, в одиночку”. Я бы от такой тоски ни за что не отказался... Немцы, конечно, своих берегут! Обеспечивают. Не то, что мы. У них — всё пучком, у побеждённых. А нам, Бирюков, надеяться не на кого. Кто на своих понадеялся, тот уже пропал... Да! Ветер летит, куда хочет. И дует он — не в наши паруса!

— А в чьи... — уплывает сознание Ивана из яви против воли.

— Он дует в паруса международной мафии!.. Но ветер — категория не постоянная. Учитываешь, Бирюков? Тут — философия! Спи... А вот, ещё Лейла с нами училась, арфу на досуге щипала, пока с мужем не разошлась. Так эта грузинка грузин ругала. На чём свет стоит! За то, что из беды друга друга плохо выручают. Сплочённость, значит, местами у них отсутствует, Бирюков! Представляешь? Связки надёжной между людьми нет... Лейла сказала: “В посольстве навру, что я — еврейка, в Израиль лучше уеду, они своих не бросают”. У тех всё пучком. У немцев и у них... Как ты думаешь, Бирюков, евреев обмануть можно? Или нет?

— Не знаю... — засыпает сидя Иван. — Не пробовал...

— Правильно, где тут их в степи найдёшь... А вот, если я, допустим, скажу, что я не Рассольцев, а Рассель?

— ...Кто — Рассель?

— Кто-кто... Ладно, спи.

Дальше сержант рассуждает сам с собою, прохаживаясь в полумраке от стены к стене и совсем не замечая того, что пламя керосиновой китайской лампы возле спящего начальника там, на посту, давно чадит и потрескивает, отбрасывая пляшущий оранжевый отсвет в просторный дверной проём.

— ...Ну, с фамилией прокатит. Допустим, — бормочет он. — А смысл? Махнёшь по неосторожности сто грамм на берегу Мёртвого, зато тёплого, моря — и расколешься. Начнёшь доказывать, кто самый великий народ. Возможно, и с кулаками... Да, швах наше дело! Как сказал бы Рудольф.

\* \* \*

В виденье, которое открывается этой ночью, его, Ивана, нет. Опять — оно. Льётся свет ласковый, нездешний. И Нюрочка в рваных синих сапогах, поджавшись от неудобства, едет на тряском осле, лицом к хвосту... Но глухой топоток издалёка нарастает в степи — мелкий, частый, дробный. И длинный, от горизонта до горизонта, ряд бегущих ослов появляется в весеннем утреннем свете. Они вышли без седоков. Они следуют неотвратимо — за тем ослом, который увозит испуганную Нюрочку к месту предначертанному, неведомому, страшному. И степь цветёт и благоухает...

— Говорят, Бирюков, на какой-то совхозной ты женился? На деревенской?

— Ну.

— А я, все три раза, на городских, — вздыхает, потирает руки милиционер. — По молодости нравилось начинать жизнь сначала. Набело! С чистого листа. Любил жениться!.. И каждый раз одно и то же. Каблуки, помада, улыбка — и трюндец: разговаривать не о чем... А ты? Разводиться думаешь? Или пока не созрел?

— Нет, — утыкается в воротник задержанный Бирюков.

— На городскую, значит, менять не торопишься? Эту, свою?

— У меня другой не будет.

— А у неё? — хохотнул милиционер. — Как насчёт другого?

— И у неё. Не будет.

— А если богатый позовёт? Который водяру сумкой не таскает? В кутузке не кантуется?

— Не пойдёт она, — хмурится задержанный Бирюков.

— В красивую жизнь?!

— Исключено.

Крякнув недоверчиво, милиционер делает что-то вроде зарядки — слегка приседая, притопывая, передёргивая плечами.

— Красивая хоть? — спрашивает он сквозь решётку.

— Не знаю.

— Ну, какая она из себя?

— ...Надёжная.

— Ладно, дрыхни. Капитан смену примет — отпустит... Ночь — дело временное, Бирюков. Спи... Но — помни: утро наступает всегда!

— Ага, — укладывается задержанный на короткий топчан, поджимая ноги. — Сплю...

\* \* \*

Полным-полно ослов в степи, движущихся неуклонно, мелкой трусцой, не замедляя слаженного бега, к общему неизбежному месту — к вехолмью, которого ещё не видно никому. Их такое множество, что не окинуть всех

взглядом. Седоков ещё нет. Но уготованные им животные уже вышли в путь... И только, ссутулясь, растерянная Нюрочка едет, одна-одинёшенька, в радостном утреннем свете...

— Бирюков! Ты же, ёлки, молодой! — бродит милиционер из угла в угол неприкаянно. — Чёлка детская, а выглядишь... лет на сорок с гаком. Ты ведь не пьёшь!.. Может, у тебя жизнь трудная была? А?

— Лёгкая.

— Болезнью Боткина не болел? Бесцветный ты какой-то... И одно слово из шести букв отгадать не можешь.

— Про оружие? Холодное?.. Нет. Не могу.

— Я-то уже почти весь кроссворд разгадал: смекалка!.. А чего по-взрослому не стрижёшься? Деньги на стрижке экономишь?

— Ага.

— Мотаешься с сумками, как старый пэтэушник... Может, у тебя жена всё до копейки отбирает?

— Не-е... Она не просит ничего. Вообще. Никогда.

— Тогда не разводись... Я тоже вот опять со своей первой расписался. Сглушил? Как ты думаешь?

— Не знаю.

— Зато я знаю. Сглушил, конечно. Надо было — со второй... А может, лучше — с дочкой старухи Собакеевой? А?

— ...Какой?

— Которая в горкоме работала.

— Дочка?

— При чём тут дочка?.. Спишь ты опять, что ли?!

— Ну.

— ...А как тебе глобализация, Бирюков?

— Никак.

— Правильно! Мир хочет стереть нашу индивидуальность! Потому он всегда учит нас не быть собой... И что за дежурство нынче выдалось? Ни разминки, ни встряски. Эх! Мороз...

\* \* \*

Ликует весеннее утро. И уготованные для кого-то ослы уже в пути. Их великое множество... Бегут они под ясными небесами по всей степи, от небесного края — до небесного края. Но люди, которые сядут на них, ещё не знают про то...

— Да, Бирюков! Согрел ты меня чуток своей водкой... Но не развеселил!.. Спи.

— Ага.

Неудобно ехать Нюрочке тряско, неловко. И видно Ивану из камеры, сквозь чугунную решётку, как обмирает её душа и томится заранее — от неизбежности предначертанного... А следом, через большое расстояние, бегут ослы без седоков.

Скоро великое множество людей поедет так же — ещё не знающих о том, что путь их начат... И каждому будет неудобно и тряско — сидеть на хребте, лицом к хвосту, упираясь ладонями в ослиную спину... И никому не отворотить рокового мига, намеченного — там, за цветущей степью, в конце пути, заканчивающегося одним общим всхолмьем, каменистым, возвышенным... Там — последний, смертный страх, которым изнывает душа заранее и томится: там — неизбежность конца. И начала, которого не постигнуть живущим...

Но утренний путь ещё долог, и степь цветёт и благоухает, и мягкий свет согревает поджавшуюся Нюрочку бесконечной весенней любовью и лаской — необычайной, несказанной.

У Нюрочки есть ещё время тряского земного пути... На растерянном лице её — светлые слёзы, ясные слёзы обречённости.

— Опять капли, — хочет сказать Иван и стереть их ладонью, только его нет в этом сне.



— Они испаряются, — молча едет Нюрочка. — Уходят в облака... Поэтому здесь сухо. Дождик из наших слёз идёт давным-давно. Далеко, далеко...  
— Где?  
— На севере.  
— Я никогда тебя не предаю, — пытается войти в утренний сон встревоженный Иван, раздвигая нездешний свет руками. — Знаешь?  
— Знаю... Я никогда тебя не предаю...  
— Знаю...  
Он пытается распрямиться, встать в полный рост, не сутулясь, не причесать, и войти свободно в утренний свет, праздничный и страшный!  
...Однако его нет в этом сне.

\* \* \*

Бешеная ночь так истрепала чернильно-чёрные свои одежды, что они, полиняв, обветшали до сквозных мельчайших дыр, не дождавшись рассвета. Сквозь них стал виден с постели старому Жоресу неприбранный подоконник, заставленный немытой посудой, и злые колкие узоры наледь, синеющие на тёмном стекле. И, кажется, что-то оборвалось этой ночью там, на севере, где слонялась беда прежних хозяев барачной комнаты, потому что старик потерял вдруг всякую способность чувствовать, ощущать, переживать. Его тело, со своими ревматическими нудными недугами, притихло; оно поджалось и уже не болело, как будто его не было вовсе. И эта лёгкость существования казалась такой странной, что Жорес не знал, что и думать...

Да, обычно чужая беда, которая шлялась где-то далеко, по российским просторам, бесприютная, как ветер, отзывалась ломотой в его костях — здесь, под крышею отсутствующих хозяев... Но может быть, это стены чужого жилища выпили остатки его сил; их не осталось теперь даже на привычную печаль, в которой иставала его судьба все последние, барачные, годы... Зато разум старика был овеян теперь зимним бесстрашием. И он понимал, не страдая: пора цветения его рода осталась в минувших веках, и плодоносная пора — тоже, в котором были когда-то учёные люди, писавшие по-арабски, мудрецы, постигавшие тайны мира в путешествиях к святыням, и отважные воины — защитники бедных сородичей. А от Жореса и Марата должны были родиться дети для общества справедливости и равенства всех людей!

И вот оба его сына вступили в жизнь с именем писателя, говорившего о Буревестнике, о Соколе! Но только кровь чёрной боевой курицы, — алчной продавщицы, — беснуется в потомках Жореса, умеющих лишь хватать всё, нужное им, а приятное — брать насильно.

Что ж, эта дурная кровь, примешавшаяся к роду — и уничтожившая, истребившая род, всегда гордившийся своей устремлённостью ко всеобщему благу, уже не продлится в жизни. Только от насильника-бандита может появиться ненароком злое дитя, ненавидящее всех. Но такое дитя разрушит себя и убьёт себя прежде, чем вырастет, а тюрьма проглотит рослого бандита и того раньше, если не убит он уже нынешним утром при делёжке награбленного...

И ничего не изменить Жоресу. Ничего... Кажется, там, в коридоре, раздаётся вялый, прилипчивый голос внука-наркомана, блуждающего в мире видений. Теперь уже нет старику до него никакого дела. Род исыяк, потемнел. Род уходит в белую безжизненную зиму...

Быть, как видно, тому, думал старик с холодным сердцем. Всё чёрное накрывает белая зима, рано или поздно. Бесславные остатки испортившегося рода, уведённого в заблуждение, накроет мёртвый чистый холод, как на крыла зима в эту ночь великого перелома всю вчерашнюю неприглядность поздней осени — пустой, облезлой, бесполезной.

Его бездетные, беспутные внуки — последние внуки; их уже при жизни накрывает снег вечного небытия. И так должно быть. Потому что если бы истина последовала их желаниям, то разрушились бы небеса, земля. И разрушилось бы всё, что есть на ней...

Старому Жоресу, лежащему под одеялом, видна бесконечная тёмная степь — за стеклом уже проступила млечная линия далёкого горизонта, и небо не сливалось с землёю, как прежде. Окно сердитой учительницы, вечно перепутанной, будто выскочившей только что из горящего танка, выходит на северо-запад, а его окно — на юго-восток. Но с постели можно разглядеть пока совсем не многое: вереницу столбов, не приносящих прежнего света, и лиловую дорогу, занесённую первым ночным снегом. Она убегает в несусветную даль, за пологие холмы, к старинным землям скромных каракесеков.

Да, не из его племени придёт человек, который одолеет врагов равенства — хищных врагов народа, растерянного теперь и уставшего выбирать свой путь наспех — принимая сумерки за рассвет, рассвет за сумерки... Рождения этого человека, способного постичь, где друг, а где враг, откуда идёт свет, а откуда тьма, ждут во всех обнищавших родах. Значит, он придёт из рода, который гордился собою меньше всех других, потому что больше, больше всех других боялся наказания в великий день...

Он придёт из рода, перед которым величались все, кому не лень, и который не растратил себя на высокомерье, понимал теперь старик умом ясным, как зимний холод, и холодным, как ясная зима. Депутат, говоривший за стенкой старой учительнице кое-что умное, выучил многое, конечно. Но дорога его коротка. Длинными бывают дороги у идущих вместе, не порознь. Только нет никакой депутатской вины в том, что это время — время коротких дорог, множества коротких дорог; они сольются позже — те, что пролегают рядом, совсем близко, по соседству, дарованному свыше...

А тот, который окажется способным свести нужные дороги воедино, не уничтожив, не повредив ни одной из них, уж не в такую ли ночь — в тёмную ночь великого перелома, должен родиться на свет? В какой-нибудь саманной развалюхе чабана, пасущего убогое стадо, где всего-то — пара коров, два быка и три десятка тощих баранов? Но и тех не оградить нынче от набегов молодых бандитов-угонщиков. Они ездят по степи на рычащих мотоциклах, шалея от безнаказанности.

Эти чёрные мотоциклы похожи на злых ос, вылетевших из какого-то тайного чёрного гнезда. И главенствует над всеми ними широкая чёрная машина его старшего внука, красная внутри, чёрная снаружи, блестящая, будто новая калоша... Не из того ли бедного стада была та телячья ляжка, которую привёз Жоресу по лиловой дороге, с юго-востока, его внук-бандит, ухмыляющийся победно? То похищенное мясо пахло человеческой кровью. А ещё — сухой вольной полынью и терпким потом неведомых степных людей, привыкших выращивать и выхаживать свой скот в бесконечных трудах и заботах...

Человек, появления которого ждут все кочевники, отрекшиеся от своих кочевий — и потерявшие возможность учиться и работать, тот человек придёт оттуда, из кочевий... Он родится в самое злое время года — потому, что ему предстоит побороть слишком большое зло, накопившееся в пору всеобщей погони за богатством, а не за народным счастьем. Он родится в переломную пору, потому что ему предстоит переломить ложный путь. По этому ложному пути устремились люди степей и гор, путая запад с востоком, восток — с западом... Свергающий власть денег придёт по лиловой дороге. Должно быть — так, скорее всего — так...

Успокоенный, старик повернулся на бок, лицом к чужой стене. Однако что-то вдруг заставило его открыть глаза — в них стало так светло, словно отсвет от зеркала упал на лицо. Или это настиг его блик с водной поверхности того затопленного котлована, в котором он оставил своё здоровье?

Старик отстранился, повернувшись к сумрачному окну снова. И отсвет последовал за ним. Узким лучом над лиловой дорогой блик улетал к горизонту, — или от горизонта, над лиловой дорогой, летел к старому Жоресу...

Больше он не беспокоился ни о чём. Потому что в эту ночь, кажется, уже родился тот, которого ждут обнищавшие.

Нюрочка ходит по тёмной комнате в цигейковой душегрейке, прилежно застёгнутой на все пуговицы, до горла, чтобы не продуло грудь. Иначе простуда перехватит молочные протоки, нежные, словно кровеносные сосуды, и младенца надо будет переводить на искусственное питание. А этого допустить никак нельзя: Сане нужно вырасти крепким. Сила природного, живого молока должна перелиться в него всецело...

Она поднимает колючие шелестящие венки с бумажными помятами цветами, вешает их над кроватью. Смотрит туда, куда ушёл вечером Иван, потом — на спящего Саню. Она кружит по комнате — от окна к детской коляске, от коляски — к венкам и снова — к окну. Нет ни души в глухом пространстве пустыря, ушедшего под снег.

После кормления ей хочется горячего сладкого чая. Но вскипятить воду невозможно. Всё же она зажигает парафиновую свечу, идёт в туалетную комнату с пустым чайником — и чуть не падает. Там, где сидел вчера на корточках под венком внук старика — бандит, сидит теперь младший брат его, тощий наркоман, и, скалясь, глядит на Нюрочку глазами узкими, мутными.

— Чего тебе? — перепугавшись, тихо кричит Нюрочка. — Откуда ты пришёл?

Парень раскачивается, бормочет невразумительное:

— Брат мой на тебе не женится, я женюсь, — вяло плюёт на пол. — Тьфу, шутка. Никто не женится... Шлюха будешь с горя. Скоро.

Она замахивается, забыв, что в руке её — свеча. Тёмные тени мечутся от того по потолку коридора, по венкам, висящим на стене, разбегаются по углам.

— Вот тебе, идиот! — грубо кричит Нюрочка, гулко бьёт парня чайником по голове. — У меня муж есть! Он тебе ноги выдернет!

И могильный венок сам собою срывается с гвоздя.

— Был муж, — улыбается наркоман, выбираясь из-под венка. — Нет больше. Покойник. В овраге лежит... Шлюха... Скоро...

Трясущимися руками Нюрочка наливает воду, нарочно громко гремит крышкой. Она снова идёт мимо парня.

— Был муж! Нет больше! — вяло смеётся парень ей вслед, видя что-то своё, рябое. — Сын твой, чухан, как растёт? Хорошо? Пускай растёт пока... В подвал потом пойдёт... Игла, игла!.. Скоро!..

И уже проснувшаяся Тарасевна кричит на парня из своей комнаты, через стенку:

— А ты что в коридоре ошиваешься? К старику пришёл — иди к нему! Нечего здесь! Марш!

— Ну, ну, мать, завязывай... Всё путём... — щерится парень. — Жду. Братан придёт... Придти должен давно! Из оврага...

Он поднимается и, шатаясь, уходит в тёмную комнату немой.

— Вперёд ты сдохнешь, — шепчет ему вслед Нюрочка. — Все, все подонки передохнут, скоро. А с нами ничего плохого не будет. Только хорошее. Хорошее. Хорошее. Хорошее.

И снова, задув свечу, встаёт она к едва светлеющему оконному стеклу. Безлюден пустырь. Только снежный покров отчего-то колеблется, зыбко покачивается перед её глазами, дрожит. Оттого весь огромный пустырь кажется ей шевелящимся и седым, словно спина гигантского тарантула.

— Все подонки умрут раньше нас... — то ли говорит, то ли думает Нюрочка. — Ничего, Саня. Это тьма нас пугает... Зло бывает сильным, когда нет света. Или это свет пропадает от слишком большого зла? Не знаю... Но день настанет, Саня, и доброе оживёт, дурное ослабнет... Наступит скоро день. Морозный!.. Зима началась. Саня.

Высокие вьюги будут набегать одна за другою, раскачивая небесный свод, пока не опадут совсем. Рано или поздно они превратятся в талую цветную воду... И маленькому Сане исполнится полгода, подсчитывает Нюрочка, загибая пальцы. А там зазеленеет степь вокруг Столбцов. Но как безлюден сейчас холодный пустырь за окном — пуст, безлюден, безмолвен...

В июле все травы выгорят дочиства. Сквозь корявые сухие корневища проглянет обожжённая розовая земля. В такую душную пору люди будут сидеть по домам, как и в лютый мороз; без крайней надобности никто не выйдет за порог жилища. И Саня подрастёт ещё...

А потом вкрадчивая осень проберётся в Столбцы, словно рыжая бездомная кошка. От её проказ городишко станет неряшливым, неприглядным, пока волны злой зимы не примчатся с севера. Но Сане тогда уже пойдёт второй год! Он станет сильнее, крупнее и сделает к тому времени первые шаги по этим прогнившим барачным полам... Но как безлюден холодный пустырь за окном и как безмолвен. Безлюден, безмолвен...

Пусть идёт год за годом, дремлет Нюрочка стоя, опершись на холодный подоконник. Пусть тихонько подрастает Саня... А сейчас пришла зима. И Нюрочке можно поспать ещё, пока сон младенца глубок. А потом по седому огромному пустырю придёт Иван. И всё дурное ослабнет...

Её Иван умеет защитить себя, не нарываясь на рожон... Так заведено у русских степняков... Умеющий защитить себя — защитит Саню... Пусть подрастает Саня... И можно поспать ещё немного...

\* \* \*

Нюрочка добирается до постели, утыкается в подушку, не сняв душегрейки. Но в общем коридоре хлопает входная дверь, так, что сотрясаются ветхие стены. И тут же вспыхивает за стеной, в коридоре, новая перебранка.

— Что ты притащился ни свет ни заря? Не рассвело ещё! Перепугал до смерти...

Это на кого-то гневается Тарасевна, пробирающаяся к туалету во тьме, наощупь.

— Цыц, Сталинища, школьная ведьма! — отвечает ей мужской голос, хриплый с похмелья. — Не шуми. Справляй нужду тихо! Без брызг.

— Да я... Какая я тебе ведьма? Я бы даже директором школы стала, если бы в институт усовершенствования поехала! А ты кто?

— Стала бы она! — буйствует Нюрочкин свёкор в коридоре. — Я сам быстрее тебя директором твоей школы стал бы, ещё когда в первом классе учился... Тузика нашего директором назначь — и он справится, ты — нет... А Тузик — он и в физике больше твоего понимает.

— Покоя молодым не даёшь ни днём, ни ночью, носит тебя нелёгкая, дармоеда... Хоть бы о ребёнке подумал. Ещё скандалит, когда все спят.

— Захлопнись! Не высовывайся. К своим иду, не к чужим. В кооператив “Тризна”! Додумались, устроили целый какой-то филиал на дому. Разве в такой обстановке нормальных детей растят?..

— Совсем стыд потерял... Пелёнку ружьём своим сдёрнул! А ну, подбери! Повесь на место!

— Ты уронила — ты и подберёшь! Пю-да-гог... Свисток твой где сторожевой? Вместо того, чтобы глупости изрекать, ходила бы ты и дома со свистком во рту, красота неземная... Не развернёшься в коридоре вашем. Тут пелёнки, там венки... И всё за моё ружьё цепляется, всё. Даже старухи...

— Эх! Был ты советский урядник, урядником и помрёшь.

— Да, вот! Сторожихой не стал! Как некоторые!.. Жалость какая... Захлопнись, сказал! А то двойку тебе поставлю. По дисциплине.

\* \* \*

С кривым своим ружьём за плечом свёкор что-то говорит про похмелье, отыскивает водку на ощупь, постукивая дверцами стола.

— Голова же кругом идёт! — возмущается он во тьме. — Где ваш денатурат? Контузили меня вчера своим пойлом! Злодеи, а не дети... Вот! Ружьё вам принёс. Для самообороны! А то шляются разные тут, у вас, по коридору. Пю-да-гоги... Думал, сменяю его на ружьё Петра Савелича! У того ложе треснуло, а ствол прямой. Так ложе я бы заменил. Не соглашается. Говорит: днём приходи... Решил я вам ружьё своё отдать! Непутёвые дети — тоже дети. Берите! Не жалко.

— Зачем нам ваше кривое ружьё? — не понимает Нюрочка, поднимаясь с постели.

— Ладно. Оно мне самому — не лишнее. А ты чего встала? Спала бы! Я же никому не мешаю...

— Тш-ш-ш, — покачивает Нюрочка коляску. — Иван ещё не вернулся...

— Ну и что? Моей лахудры целый месяц не было! В прошлом году, когда к родне она ездила, в область. И ничего, я лично — спал... Так вот, — говорит свёкор, похрустывая солёным огурцом за Нюрочкиной спиной. — Проводил я её, иду. А эти — стоят там, значит. На тракте. Проститутки! Вереницей... Дармовых денег хотят!.. Плююсь мысленно, но изучаю их досконально, исчадий ада. И вдруг — одна среди них: ангел!.. Чистый ангел. Невинная... И видно сразу — первый раз вышла, веришь, нет? Кругом — халды, оторвы — ух!.. А она — грустная, небесной красоты девчужечка светленькая, школьница... “Отвечай, как зовут?.. И что же ты, Алина, творишь?!” Веду, значит, её, через овраг, мимо ГОКа... Я кому рассказываю? Слышишь? Нет? ...Ну, молодёжь.

\* \* \*

Испив рассолу из банки и утёршись полотенцем, свекор едва не рухнул, поскользнувшись на огрызке уроненного огурца.

— Что за теснота?! Упасть негде. Повыкидывал бы я твоё приданое! Все бы коробки ликвидировал! Полкомнаты макулатура книжная занимает... Пусть Ванька всё отнесёт Амнистиевичу, на растопку! Приказываю, как родитель! Слышишь, нет?

— Тихе, — просит Нюрочка свёкра. — Пожалуйста... Ребёнок спит...

— Ничего! Наспится ещё за свою жизнь. Не велик барин!.. Ребёнка родили! Эх, барыги, барыги. Воспитатели, тоже мне... Чего путного от него ждать, от ребёнка вашего, с такими родителями?! Ну, я домой. Сто грамм ещё махну. И всё. Школу, значит, она бросила, ангельчик, — продолжает свёкор со стаканом в руке. — У неё мать-закройщица без работы осталась. “А брат, — говорит, — он тощий, но ест много. Пусть он зато выучится. Я скажу, что деньги в кустах нашла”... Пальцем её не тронул, между прочим, невинную. “Бери — всё! Деньги мои небольшие. Копейки! Но они — чес-тны-е!”...

— Ивана нет ещё, — потирает Нюрочка лицо, садясь на неприбранную кровать. — Утро скоро, а его...

— Ну, заладила. Говорю же: не пропадёт! Сухой из воды выскочит. Что я, Ваньку не знаю? У него — бабкино воспитанье! Там — всё строго было. Она, старая, Ваньку нам — не доверяла. Не религиозные мы были для неё! Но мы... Мы всегда жили че-ст-но!.. Нет, лучше двести грамм ещё выпить. Денатурат же! Берёт не сразу... О! Теперь прошибло: икота пошла... А ты бы тоже махнула! Грамм пийсят и тебе можно. Сама бы расслабилась, и ребёнок насосётся, лучше спать будет. Учишь вас, учишь, спекулянтов, а толку нет. Никакого!

Он садится к столу, не сняв ружья, допивать во тьме, и не видит, как берёт из коляски, как закутывает в одеяло Нюрочка спящего младенца.

— “Забирай всё!”. Так ей говорю, ангельчику. “Иди — и больше — не грешии!” — заглядывает свёкор в кастрюли поочередно. — Нюр, ты куда собралась-то? Пальто надела... Я тебе рассказываю или кому?.. Свечку бы лучше мне зажгла... Никакого гостеприимства...

Но Нюрочка спешит, спешит на волю, прижимая ребёнка к себе:

— Гулять, Саня, пойдём. Тише... Папу твоего, Саня, встретим...

— На мороз в такую рань кто прётся с дитём? Только ненормальные. Там ботинки к земле примерзают! — предостерегает свёкор, громыхая посудой и круто посыпая перцем хлеб. — Ну вот, холод по полу идёт. Эй, двери-то закрывайте, мать-перемать! Не лето...

\* \* \*

Ещё не рассвело, а Бухмин уже проснулся окончательно в состоянии тревожном и решительном: ему надо спешить — зачем, куда? Неизвестно... Пора!

Прошлым вечером, закутанный в одеяло, он услышал по старому приёмнику — кто-то читал его стихи о девушке, стоявшей на перроне в меловом пыльном облаке. Потом голос ведущего сказал: “В те годы, когда поэт Бухмин был ещё жив...” И он, поняв, что на свете его больше нет, покивал согласно:

— Всё так... Если умирает держава, то жизнь отдельного человека уже ничего не значит. Всё так.

И свет погас... А сам Бухмин почему-то пережил эту ночь.

Сейчас он соберётся с силами и выберется из-под одеяла. Умываться во тьме старый поэт не будет, и чай пить — тоже. Электричества как не было, так и нет. Но под его окном ходит кто-то, проснувшийся до света. Поскрипывает снег под шагами, свежий снег... Опять — снег... Молодой снег, износившаяся жизнь... Но кто же там ходит в предутренней тьме?

Подглядывает обычно за Бухминым та самая старуха в тугом стёганом шлеме, скрывающая у себя под чёрною тряпкой и вращивающая в банке нечто мерзкое, осклизлое, медуобразное. Она даже пыталась однажды вернуться к Бухмину в комнату.

— Я не приглашал вас, — отгеснил он старуху с обвисшими щеками, перепугавшись отчего-то. — Нет, нет.

— А как нам жить, не знаю, с кем? — возмущалась она на ступеньках. — Вдруг у вас проводка замыкает? Мы, соседи, должны знать!

— Я никого к себе не звал, — заперся тогда Бухмин. — Не звал. Уходите...

После этого старуха, замедляя шаги, лишь бросала гневные взоры в его окно, завешенное газетой, однако в гости больше не заявлялась. И всё же как-то он долго разглядывал её, приподняв бумажный уголок.

— ...Они все что-то выращивают в стеклянных своих банках, — раздражённо забормотал Бухмин, опуская ноги в валенках на пол.

Те, которые ходят с недовольными лицами, выращивают, выращивают у себя что-то осклизлое. У всех, у всех в Столбцах на подоконниках стоят какие-то стеклянные банки под тряпками! Стоят по всему свету... Стеклянные банки... Но в разбухающей осклизлости уже зарождается некий багровый зрак — что-то живое и ещё не грозное, похожее на малый кровавый сгусток внутри куриного яйца, он видел это, видел: как в преизбыточности *терпения* зарождается кровь...

— Нет. Не надо крови, — бормочет старый поэт в тёмной каморке, приглаживая взлохмаченные волосы. — Не хочу, не вынесу... Нам хватит того, что было... Сколько можно?!

\* \* \*

Но кровь уже зародилась в осклизлости давно перестоявшегося, закисшего, заплесневевшего всеобщего терпения — в той банке, на подоконнике старухи... И кровавый сгусток внутри слизи всё разрастается: вокруг него уже образовался свинцово-серый обод... Пока этого не увидел никто, кроме старого поэта, слишком хорошо знающего приторный, парной запах лишкой человеческой крови.

— Довольно... Я... лучше... С меня довольно... Нет. Больше не надо...

С трудом поднявшись в своих валенках и телогрейке, он двинулся было к окну. Спотыкаясь о всякий хлам, Бухмин опрокинул невзначай ковш с недоваренными картофелинами и сорвал газету, прилепленную к стеклу.

С надеждой взглядываясь он в заснеженное пространство, вдыхая ледяной воздух, струящийся из щелей... Если под окнами шляется старуха в байковом стёганом шлеме, он будет жить ей назло. А если удастся ему увидеть ещё раз, хотя бы раз, ту, с пасмурными предвоенными глазами, тогда можно будет Бухмину помереть с лёгкой душой. Ведь ходит же иногда она перед старыми его глазами и носит крохотного ребёнка в одеяле — будто того самого, которого там, в прошлых десятилетиях, должен был родиться у него и той, обманутой им в самом начале войны... Только бы успеть сказать ей напоследок: пусть этот, этот ребёнок непременно разобьёт старухину банку с медузой, как только начнёт ходить! Непременно!..

— Не надо крови, — взбирался на шаткий табурет Бухмин, покряхтивая. — Не хочу... Я устал умирать... Я больше не хочу умирать... Больше не могу умирать.

Накинув петлю на шею, он принялся ждать появления женщины. И вскоре ему было всё равно, кого увидит он там, за стеклом, кого окинет прошальным взглядом напоследок: тётку Родину с кухонным ножом в кармане просторного, вечно мужского пиджака, свою верную Лизу-снайпершу, босящуюся сырости и темноты, бледную ли соседку с крохотным ребёнком на руках... Или посмотрит ему в угасающие глаза та, единственная, которая смотрела на него, молодого, с перрона, припудренного белой пылью. Посмотрит из мелового облака — и позовёт к себе беспрекословно: “Жду!..”

Но он обязательно должен прокричать сквозь белый пыльный ветер, идущий из предвоенных меловых карьеров, что нужно сорвать чёрную тряпку! Пусть ребёнок разобьёт старухину банку. Потому что в осклизлом запредельном людском терпении зарождается, рано или поздно, неизбежно зарождается кровавый сгусток — багровый зрак, вокруг которого образуется свинцово-серый обод!

— Довольно умирать, — бормочет старый поэт, ощупывая петлю, продетую в кольцо. — Довольно всем умирать...

\* \* \*

Никого там нет, на пустыре, в рдеющей тьме, лишь нахохлились в ложбине заметённые снегом кусты, едва различимые во мраке, да бугрится, темнеет вдаль огромный камень-валун, вырастающий из земли.

— Баю-бай... — горбится Нюрочка на морозе, прижимая к себе ребёнка покрепче.

Крошечное лицо спящего Сани закрыто углом стёганого одеяла, и в это одеяло шепчет Нюрочка, согревая его дыханьем:

— Баю-бай...

Мёрзлая земля укрылась первым снегом, синееющим в ожидании дня. Жёстко похрустывает он под ногами. И кругом — ни души, ни души...

— Бай-бай... — притопывает Нюрочка, сутулится, дышит теплом. — Крошечный... Тш-ш...

Свирепая ночная вьюга ничего не оставила от старого сарая, кроме четырёх пеньков, торчащих чёрными обломками. Не вьётся дымок над высокой трубой котельной; должно быть, уснул к исходу ночи старый истопник, живущий около печи уж который год. Зима охватила Столбцы.

— Тш-ш-ш...

Колочий холод забегает под Нюрочкину одежду, и надо ребёнка быстрее нести домой. Но свёкор вывалился вдруг из барака с кривым ружьём, распевая раскатисто и широко.

— Р-р-родина слышит, р-р-родина знает!.. — орёт он так, что слышат его, должно быть, все люди в Столбцах — даже крепко, крепко спящие и безнадежно глухие.

Пережидая, когда он уйдёт подальше, Нюрочка снова прохаживается вдоль барака, покачивая ребёнка:

— Тш-ш...

Как вдруг внезапный страх беды окатил её спину, будто ледяной водопад, упавший с тёмного неба, — беды неотвратимой, неизбежной. И Нюрочка замерла, не понимая происходящего.

— Р-р-родина слышит, р-р-родина знает!.. — всё вдохновенней, всё громче горланит свёкор. — Как нелегко-о-о её сын побежда-а-ает!..

Озираясь в неясной тревоге, Нюрочка обернулась на миг, ничего не увидела за собою, кроме чёрных окон барака, — и тут ей вздохнулось легко и свободно. Знакомая фигура показалась в полумраке — далеко-далеко, на самой кромке степи, из-за тёмного камня-валуна. Да, то возвращался домой её Иван.

— ...Алыми звёздами башен кремлё-овских! — заходился, захлёбывался песнею свёкор за углом. — ...Смотрит она за тобо-о-ою! Смотрит она-а! За тобо-о-ю...

Иван шёл быстро, придерживая лёгкую сумку на плече, — он спешил, уже заметив Нюрочку издалёка. А надсадная песня орущего свёкра уплывала, удалялась куда-то к разрушенным многоэтажкам, торчащим на заснеженной горе:

— ...Всею судьбой своей ты защища-а-аешь!.. Там! Таратам-та-а-а... Мира великое де-е-ело!..

Приблизившись, Иван не улыбнулся. Только глянул на жену исподлобья, взял ребёнка на руки молча. И они пошли в барак, след в след — склонив головы, как два старых человека.

\* \* \*

Первое зимнее утро наступало медленно, неохотно. И долго стоял в Столбцах рассеянный мрак, будто были то глубокие сумерки.

Дожидааясь какого-нибудь мало-мальского света, жители не торопились нынче вылезать из подвалов, выбиратья из-под одеял, ватных матрацев, вылезать из ворохов тряпья. Одни мелкие служащие, боящиеся начальства, собирались выйти из домов спозаранку, потягиваясь и отыскивая тёплую одежду на ощупь. В иных комнатах бродил кто-то за окнами с зажжёнными парафиновыми свечами, но недолго, и таких было мало. Даже продрогшие обладатели буржук, сооружённых из железных бочек, не спешили разжечь в них горку каменного угля: из двойных форточек, затянутых жёстью и фанерой, не исходило дымка, а круглые отверстия посередке были прикрыты заглушками, похожими на консервные ржавые банки. И, скованные сильнейшим морозом, никак не оживлялись улицы от силуэтов редких прохожих, спешащих по ранним докучным делам. А выпавший снег улёгся ближе к рассвету так сухо и плотно, что следов на нём почти не было видно, и белизна его всё не проступала сквозь всеобщую затемнёность.

Свирепые ветры, бесновавшиеся, крутившиеся в ночи великого перелома и взлетавшие до самых небес, раскачивая заоблачные своды, а потом устремлявшие на полуразрушенный городишко, теперь улеглись на несколько дней. Только широкое ровное воздушное дыхание шло из огромной стылой степи, уже ничего не помнящей о вчерашней поздней осени, и уходило в стылую степь беспрепятственно. И это оно, леденя всё живое, не давало нахохлившимся воробьям высунуться из-под стрех, а редким прохожим — распрямиться на бегу.

Сквозной холод большого пространства сообщал крупнопанельным бездушным домам звенящую напряжённость, словно сделались они железными от стужи. В Воротах ветра размеренно дышала полновластная зима, омертвляющая живое и уже не замечающая сопротивления себе — жалкого, суетного, торопливого...

Ни учителя, ни школьники так и не появились этим утром на улицах городишка. Только в барачном тёмном коридоре стояла перед общей дверью закутанная девочка с портфелем. Тарасевна вздыхала, засовывая ей в карман печенье. Увещевала:

— Нет в школе никого!.. Зачем идти, Полина? Что, президентом ты станешь главным? В нашей Москве?



— Если надо, стану, — пообещала девочка. — Выпусти, бабуль...  
— Ох, и чего же ты будешь делать тогда? — поправляла на ней тёплый шарф Тарасевна.

— Всё буду делать, чтобы все люди жили хорошо.

— Так ведь мы же... злые сделались! — не открывала ей дверь Тарасевна. — Как ты с нами, злыми, голодными, справишься? Как ты нас заставишь друг дружку жалеть и не есть поедом?

Девочка опустила голову от смущенья, но сказала довольно бойко, доставая vareжки:

— Я скажу всем, чтобы все всех уважали!

— ...Ну, ступай, — поскучнев, проговорила Тарасевна разочарованно. — Учись, учись. А то опоздаешь...

\* \* \*

Этим же ранним утром, за тысячи вёрст от Столбцов, спешил к обители в толпе паломников и богомольцев чудной человек в долгополой одежде, напоминающей лоскутное одеяло. Идущие от вокзала вереницей не обращали на него своего внимания, пока ноябрьская холодная темень обезличивала всех равно, скрадывая и очертания тихих бревенчатых домов, и старых раскидистых деревьев, и буераков. Однако едва развиднелось, как те же люди, одетые бедно и кое-как, у самых монастырских стен принялись отыскивать что-то в своих карманах и сумках. Принимая его, должно быть, за юродивого, они совали человеку мелкие деньги, тот брал, кланяясь, засовывал их в торбу и шагал ещё торопливей в тяжёлых своих ботинках, с наклоном сильным опираясь на посох, отчего ноги его от туловища будто отставали. Тех денег сразу прибыло очень много, к неудовольствию закутанных побирающихся — вставших ни свет ни заря в холодное и тёмное это время года под белокаменные карнизы древних башен с чёрными провалами бойниц.

Под сводами Восточных ворот, однако, человек в пёстром одеянии словно оробел и двигался далее медленно, а, вступив в обитель, тут же рухнул на колени, в великом и странном потрясении целуя мёрзлую землю, припорошенную редким снежком. И так, не вставая с колен, спрашивал взволнованно под колокольный звон, как пройти ему, смирения не обретшему, к самому Преподобному.

Потом паломники видели его в святом Храме, где человек сразу купил огромное количество свеч. Он принялся расставлять их пред старинными иконами, крестясь, бормоча что-то и кланяясь часто-часто-часто. К нему подошёл пожилой служитель с вопросом спокойным, обстоятельным:

— Для чего так много возжигаете, можно спросить?

— Ставлю за близких, — отвечал человек покорно. — Со мной они.

Оглядывая разноцветные свои заплаты, он принялся трогать и перебирать их поочерёдно, словно лествицу. Но служитель, озабоченный, всё не отходил.

— ...А те, за кого свечи вы ставите, знают об этом? — спросил он негромко.

— Нет, — с виноватым поклоном ответил ему человек. — Их двадцать миллионов. Не знают они.

Заплакав, человек стал отирать лицо рукавом.

Служитель не удивился ничему, но, помолчав, переспросил всё же:

— ...Сколько их, говорите?

— Всех-то душ — может и тридцать миллионов будет, страждущих в новых изгнаниях, — утирался человек в пёстром одеянии, кланяясь быстро, мелко. — За шеломом они, все за шеломом... Там... Там русская земля, за шеломом еси... Далеко осталась... Там они все...

— Ну-ну, — сочувственно покивал служитель и отступил, ничего более не сказав, хотя ещё поразмыслил немного, прежде чем вернуться к свечному прилавку совсем.

Тогда человек решительно двинулся к мощам Преподобного. Он прошёл напрямую, не видя людской очереди, и опустился на колени, потому что от

переживания ноги не держали его. Там упал он вниз лицом и больше не поднимался. И храм сиял, озарённый пламенем великого множества свеч...

Служба шла своим чередом. Человек не поднимал головы.

— Пропадают людишки... — плакал он в пол едва слышно. — В молдавских, в басурманских степях, в горах кавказских страждущие давно, беспросветно...

И в середине дня молился так же. И ввечеру — так...

Уже к ночи, в пустом Храме, всё тот же пожилой служитель тронул его за плечо, подавая посох, оставленный у свечного прилавка. Пёстро одетый человек встал, покачнувшись, и удалился безропотно в тяжёлых своих ботинках.

\* \* \*

Лишь отойдя от Храма, Порфирий обнаружил, что на дворе — темень, и время, исчезнув, улетело далеко вперёд, и дня как бы не было вовсе. И всё же верилось ему в это не вполне; он перетаптывался минуту или две, поглядывая на небо вопросительно. Однако то, что надлежало Порфирию сделать, было выполнено. Молитва за оставленных людей излилась из его сердца вся, и горе его обмякло, а тело обрело ту невесомость, которая сообщается человеку в крайнем бессилии. Он побрёл к выходу из обители, проговаривая рассеянно: "...Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости; дочери наши — как искусно изваянные столпы в чертогах..."

"...Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом; да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших..." — всё бормотал он потихоньку, опираясь на палку, шаг за шагом, и дыхание было его — просторным, а воздух упоительным от свежести и чистоты.

Однако покинуть обитель Порфирию не удалось: тяжёлые ворота затворились вдруг перед самым его лицом, и он озирался в недоумении, пока сочувственный голос из темноты не подсказал ему:

— Беги, братец, вон к тем, там открыто ещё. Успеешь, быть может. А тут... опоздал. Не выйдешь ты от нас...

— Точно ли — не раннее утро теперь? — спросил Порфирий в свете ночных фонарей, перетаптываясь. — Пробыл я часа два будто. Не боле. А в остальное время был я — и не был.

— Завтра — утро настанет, — был ему ответ. — Спеши.

И он двинулся в другую сторону, покачиваясь от головокружения. И осеял он себя крестным знаменем: "...да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших..."

Но и эти ворота закрылись тут же, едва он приблизился к ним.

С лицом светлым и потрясённым Порфирий, не чувствуя тяжести металлургических своих башмаков, всё ходил бесцельно по монастырским дорожкам, всё крестился на древние храмы и трогал холодные древние стены, могильные плиты. Потом сел он под высокой елью, напротив колокольни, не чувствуя холода: святая обитель не выпускала его, а пребывала с ним неразлучно.

\* \* \*

И задремал Порфирий в ночи, радуясь каждому мигу своего нахождения здесь — словно дозволялось ему было погостить в раю, хотя бы и самую малость ещё... А там и вовсе возмечтал он о благостной своей кончине — как, после всех многолетних скитаний своих по степным бесконечным дорогам, буеракам, по трактам да пустырям, помрёт он сейчас мирно на отчей земле, веками намоленной, и как поднимут его люди грамотные из-под ели этой великой, и как обмоют прилежно, отпоют по правилам древним, незбылемым, и как похоронят здесь же — где-нибудь с краешку рая...

И так-то было хорошо спящему Порфирию представлять кончину свою благообразной, что улыбка не сходила с лица его: будто и в самом деле уж не придётся теперь ему валяться, помершему, где-нибудь в диких кустах колю-

чих, и не гнить Порфирию, значит, в цветных лоскутах своих, близ цветных озёр, на холодных ветрах, неотпетым, неприбранным, среди вредоносного излучения пород, пока дикая птица не выклюет глаза его и пока пегие степные лисицы не обгложут бесславные его кости... И ель над ним шумела мерно, шептала Порфирию, словно матушка, что-то утешительное, отрадное...

В другое время и в другом месте даже и во сне грозно одёрнул бы себя Порфирий: “Вот ты какой! В рай норовишь втереться навечно, когда во грехах ты весь, шатун бездомный!” Но внутри сердца его, словно в храме, не смолкая, шла церковная служба. И губы его вторили невольно, вслед за сердечным служением: “...Блажен народ, у которого это есть...”

Понимал спящий Порфирий, что надо бы затворить сердце — по ничтожеству собственному, потому как недостойно было оно, своевольное, того ликования и того служения, которое в нём происходило. Только совсем не отыскивал он в себе таких сил, чтобы пресечь блаженное то состояние окончательно: “Тебе ли вмещать святые хоры, презренному, наглomu? Разве по достоинству тебе честь сия?”...

Медлил он во сне. Медлил... Потому что очень уж хотелось ему помереть сей миг — со звенящим от молитвы сердцем. Здесь помереть, пред колокольнею древней. При ели великой, материнской...

\* \* \*

Очнулся он в понимании, пришедшем вдруг непонятно откуда: “Твоя кончина такая возможна уже, Порфирий. Оставайся”, — сказал ему кто-то без всякого голоса. И поднял Порфирий глаза на бессловесные эти слова. Высокий Монах стоял перед ним на ветру и ожидал будто его согласия. Тогда растерялся Порфирий от благоговения. А там и забормотал, не зная, как быть:

— А как же они?.. Как же брошу их? К ним надо мне...

Монах в поношенной лёгкой одежде, словно не было никакой зимы, всё стоял в ночном холоде и смотрел на него, не произнося ни слова. Но только тёр веки и моргал Порфирий виновато:

— Простите меня все. Пойду... На поезд. Ничего, ничего... Авось бесплатно довезёт кто-нибудь недостойного милости. Ничего...

Монах же ещё продолжал ждать.

— Что же оставленных я оставляю? Я, подлый? — вконец уж закручинился, засуетился Порфирий, поднимаясь с мёрзлой земли и подхватывая посох. — Преданных всеми как предаю? Долю свою — брошу ли?.. Уж так хорошо бы мне бросить её, постылую! Кинуть! Забыть! Право: как хорошо бы!.. Да вот, не смею... Простите меня, все святые наши...

Тогда повёл его Монах куда-то, чему противиться Порфирий никак не мог, поскольку чувствовал только благоговенье — благоговенье и трепет.

И вскоре отворилась перед Порфирием узкая дверь в каменной стене. И путь был открыт для него — в прежний мир привычных горестей и бед... Но так жалко, так трудно было ему уходить, что обернулся он к Монаху. А потом и сказал своё, обычное — лишь бы отдалить миг расставанья, потому как сердце его никак не хотело отрываться от обители и оттого болело, тоскуя смертельно:

— Что ж мы так переводим? Зачем? Для чего?.. Точный-то перевод: “Не власть, если не от Бога, подлинные же власти от Бога учинены суть”! Только подлинные... Так ведь? Или нет?.. Любой ответ приму! Но... так ведь?

Монах же смотрел на него — будто не отсюда, будто издалёка, — и ничего не отвечал; уста его были заграждены молчаньем.

\* \* \*

...А в степных далёких Столбцах старуха Тарасевна много говорила тем вечером — Нюрочке, держащей сытого младенца на руках, Ивану, разматывающему жёсткий клок перепутанной проволоки, и внучке Полине, сходяв-

шей в школу напрасно, — про то, как во время дежурства, уже около полудня, топталась она возле стеклянной своей будки, спиной к заправке, поджимая руки для тепла в рукава тулупа...

И ничего особенного вокруг неё сначала не происходило. С осторожностью вдыхала Тарасевна морозный воздух, припахивающий бензином, и видела разве что холмы — заснеженные, безлюдные, убегающие волнисто в самую дальнюю даль. Одна бескрайняя скучная степь перед нею простиралась до самого горизонта, и только чернела автостоянка вдальке, сваренная из чугунных прутьев, решётчатая по-тюремному, да и та опять была сдвинута кем-то и повалена набок. Тогда похлопала себя Тарасевна по полам тулупа, который расходился от недостатка пуговиц, и пригорюнилась: вот стоит она, хвоя старушонка в валенках, посреди такого огромного пространства, на морозе трескучем, и всё-то вокруг уже не своё — чужое, на тыщи вёрст. И на востоке — чужое, и на юге, и на западе — тоже, куда ни повернись. И везде-то сиротствуют русские, такие же точно, как Тарасевна...

Вздохнув от безысходности, подняла она голову и засмотрелась ввысь с укоризной. Но серое небо разъялось тут над головой старой учительницы, и в самой глубокой пустой синеве обозначились три точки, которые приближались к ней довольно быстро. Вглядываясь и сильно щурясь, Тарасевна опешила.

— ...Утки, что ли? — не веря старым глазам, спросила она себя озадаченно.

— Какие утки об эту пору? — возразил ей дежурный заправщик, оказавшийся рядом.

Он тоже глядывался в глубину неба, оторопев от зрелища: шёлковое трепетанье крыльев уже обозначилось там вьязе, при солнечном сиянье.

— Гляди-ка, голуби... — произнёс неуверенно заправщик. — Три белых голубя... Как так? Откуда?..

А там и ясно стало: то, в самом деле, приближались из необозримой запредельной высоты необыкновенных, белоснежных три голубя, с крыльями, отливающими серебром. И пролетели они над старухой, стоящей в тулупе, закутанной в шаль поверх ватного шлема, и над оцепеневшим заправщиком, за рукав которого уцепилась она от чрезмерного своего переживания, чтобы не упасть... Над Столбцами пролетели, высоко, — над разрухой, над степью, над новой зимой. И линия их полёта пересекла линию человеческих взоров крестообразно... Тогда всё так сияло солнечным золотом, на все четыре стороны света, и так слепило, что Тарасевна изнемогла совсем от этого и попросила вызвать сменщика.

\* \* \*

— Диво дивное было, — потрясённо говорила Тарасевна этим вечером соседям в бараке и своей внучке. — Так душа зашлась, что не осталась я дежурить в ночь... Вот, весть нам пришла... Такую весть передаю...

Далее она уже ничего не уточняла — задумывалась крепко, забыв своё обычное беспокойство. И непомерное стремление к работе оставило Тарасевну почему-то, и потребность ругать зятя Коревку исчезла бесследно, да и шлем её завалился за сундук. Старая учительница в мятой шалёнке либо молчала, склонив голову, — либо вновь говорила о виденном.

И на другой день она рассказывала это: и у дочери в гостях, и в больницы палате, куда увезли старого Жореса, и в милиции, где спрашивали Тарасевну совсем о другом — о погибшей немой, останки которой отыскались в овраге, под глиняным навесом. Одни только внуки старика не слышали про *весть*; они уехали спешно куда-то в степь, на чёрной своей машине, красной внутри, хотя в милицию их вызывали тоже.

За всеми этими событиями барачные не обнаружили перемен в окне поэта Бухмина. Лишь истопник Василий Амнистиевич, выносивший ведро с золою, остановился, отметив издали, что газета сорвана там и какая-то старая одежда вывешена, кажется, для просушки.

А Порфирия ждали в Столбцах долго. Он, однако, не появлялся. Домысливал народ: верно, задержала его на границе таможенная служба, которая становилась всё строже, всё бдительней с каждым днём, а поскольку был он беспаспортный шатун, то и въезда, значит, ему не полагалось ни в то государство — ни в это, и выхода другого не оставалось, как только сидеть в разноцветных своих лоскутах на пограничье новом — вечно.

Однако со временем стал Порфирий сниться самым разным людям в степях — одинаково. И говорил он всем — одно; не понятное, но такое, что запоминалось почему-то сразу. Лицо его при этом было ясным, а взгляд — ласковым. Слова же произносились такие:

*“как есть чаша падения и чаша гнева,  
так есть и чаша немощи,  
которую, прияв от нас, Господь  
в подобающее время даёт в руки врагов наших,  
чтобы прочее не мы, а бесы немоществовали и падали”.*

Так говорил будто он каждому спящему, а иным прибавлял: “Много нас, много, вытесненных отовсюду, да утешены будем на небесах самой высокою милостью, какой не найти нам на земле...”